

Илья Виноградов

---

# Машенька

Циклотимический роман-  
онлайн о любви

Илья Виноградов

**Машенька. Циклотимический  
роман-онлайн о любви**

«Издательские решения»

## **Виноградов И.**

Машенька. Циклотимический роман-онлайн о любви /  
И. Виноградов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-831642-5

Роман о том, как... влюбляются и теряют любовь; как гаснет чувство, а «единственный и неповторимый» становится «одним из многих». В общем, роман не об этом. Но, наверное, семена «смерти» любви рассыпаны по тексту, и к концу их становится больше — представляется так. Чувство, которое герой считал настоящим, оказывается «виртуальным» — об этом говорит лирическая героиня. О том, что любовь нежеланна и от нее стараются избавиться. В том числе и испытывающий ее.

ISBN 978-5-44-831642-5

© Виноградов И.  
© Издательские решения

## Содержание

Глава I	6
Глава II	7
Глава III	10
Глава IV	12
Глава V	14
Глава VI	16
Глава VII	18
Глава VIII	20
Глава IX	26
Глава X	28
Глава XI	32
Глава XII	34
Глава XIII	37
Глава XIV	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

# Машенька

## Циклотимический роман-онлайн о любви

### Илья Виноградов

© Илья Виноградов, 2016

ISBN 978-5-4483-1642-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

**Машенька**

Циклотимический роман-онлайн о любви

«Он остановился в маленьком сквере около вокзала и сел на ту же скамейку, где еще так недавно вспоминал тиф, усадьбу, предчувствие Машеньки. Через час она приедет, ее муж спит мертвым сном, и он, Ганин, собирается ее встретить.

Ганин глядел на легкое небо, на сквозную крышу – и уже чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня, – эти четыре дня были быть может счастливейшей порой его жизни. Но теперь он до конца исчерпал свое воспоминанье, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней, который сам уже стал воспоминаньем.

И кроме этого образа, другой Машеньки нет, и быть не может».

*В. Набоков, «Машенька»*

Циклотимия —

1) значительные колебания настроения от приподнятого до подавленного;

2) (cyclothymic disorder) – поведенческое расстройство, характеризующее хронической нестабильностью настроения с многочисленными периодами легкой депрессии и легкой приподнятости.

Лучше писать для себя и потерять читателя, чем писать для читателя и потерять себя.

*С. Конноли*

## Глава I

Милая моя Машенька, чудесное солнышко, милая ненаглядная девочка, солнечный луч, улыбка, нитка жемчуга, нанизанного на солнечный луч, милое солнышко, чудесная... чудесный соболек, милый мангуст, маленькая ветка можжевельника, стучащаяся в окно, лёгкий дождь, освежающий и весело льющийся за воротник; милое, славное, невыразимо притягательное создание, чайный лист, заваренный и душистый, смолистая ветка сосны, пение соловья на ветке, спускающаяся ночь, все шорохи ночи, все её дивные, цветные звуки, вся ночная свежесть, вся прохлада ночи, вся её таинственность, всё очарование и непроглядная темнота, в которой ты предвкушаешь найти обетованную нежность, все разговоры, долгие и задушевные, и молчание, которое выразительнее слов; и касание плеч, прикосновение пальцев, переплетение их, дрожь от прикосновений, дрожание от наслаждения плечи, руки, проводящие по бархатным щекам; сгустившиеся донельзя сумерки, проснувшаяся ночь, полная звуков, отдаленный волчий вой заставляет замереть сердце; но он далёк и больше не повторился; ковер сосновых иголок, по которому ступаешь в темноте босыми ногами; и вдруг впереди оказывается река, и ты у самой воды, ты окунаешь в поток натруженные ступни, и сразу прохлада разливается по всему телу; ты – сладостный сон, который наступает вслед за усталостью, тыходишь в этот сон как фея с прозрачными крыльями, ты вьешься как бабочка и вдруг достигаешь обычных размеров, и это значит, что сон начался. Ты говоришь, что необходимо произнести заклинания. Мы, взявшись за руки, читаем по закопченной серебряной табличке странные невиданные руны; но мы откуда-то знаем, как их произносить. И мы произносим нараспев слова, а потом смеёмся над чем-то; в комнате проступают свечи, горящие по периметру магической фигуры на полу. Мы встаем и движемся по комнате; становится светлее – входит рассвет. Вдруг неожиданно все исчезает, я остаюсь один, но вижу твой портрет в рамке на полке. Я опять вспоминаю, зачем ты... Ты вновь появляешься, в воздушном платье с воланами-рукавами, и колокол-юбка будто скользит по паркету, маленькая комната раздвигается до размеров залы времен Тюдоров, когда камин только еще был перенесен к стене; а посередине – огромный дубовый стол, на нем – канделябры, вокруг стола скамьи. Я хочу написать тебе – но я чувствую, что не должен этого делать, потому что мы еще не знаем друг друга. Но сердце так и просит у руки, чтобы она рассыпала эти звуки по бумажному ковру. Я не могу насмотреться на твой образ – сначала на фотографиях, потом в воображении, куда эти фотографии соскальзывают одна за другой; я запоминаю выражения лица – каждый раз оно иное, но над всеми оттенками настроения господствует твой улыбающийся, отрешённый и устремленный в нечто невидимое взгляд; ты будто смотришь в одну из сфер, которые обволакивают землю, и видишь бесконечные анфилады взметающихся строений, причудливых и невообразимых уму. И видишь пространство, не скованное, не ограниченное ничем. В отблеске этого твоего взгляда, в тенях, отбрасываемых языками его пламени, хочется расположиться, как у камин, хочется поглощать почти материальную субстанцию этого взгляда, как амброзию, хочется всматриваться в глаза, изводящие его, и не бояться обжечься, хотя взгляд этот обладает и силой, способной сокрушить хищное зло, цепенеющий страх. В твой взгляд хочется облечься, как в шарф, перенять его, смотреть с такой же добротой, мягкостью и мудростью, странной в юном существе. И, кажется, я начал смотреть твоими глазами; я вижу землю, как в борхесовском Алефе, все события огромного мира с огромной высоты. Твой взгляд согревает, как вино, я напьюсь им и буду «глаголовать странными глаголы», как апостолы. Я стану носить твой взгляд, как горящий уголь, в пещере сердца, и, когда возникнет надобность, я буду делиться им с холодными, продрогшими существами улицы. Серые улицы станут цветными, посреди дождя зажгутся оранжевые гирлянды, когда я достану из сердца и зажгу одним движением огнива твой невозможный взгляд.

## Глава II

Все утро словно засыпано ярко-оранжевыми шариками от пинг-понга, ты купаешься в них, ступаешь по ним, они разлетаются в стороны из-под твоих ног с пластиковым звуком, и ты представляешь, что идешь по дорожке, которая вся усеяна ими; но по бокам дорожки – уже обычные кусты розмарина, а там, впереди – вздымаются сосны, виден мостик над дорожкой, и сознание подсказывает, что это часть Царской тропы, где ты проходил бесчисленное число раз. Мне хочется писать только о тебе, я вспоминаю момент, когда ты вошла в автобус, а я сидел и писал этот текст, и был настолько погружен в него, что тебя не заметил. А ты заметила, поздоровалась и быстро прошла в дальнюю часть автобуса, села рядом с кем-то, и у вас начался диалог, вызванный твоей заинтересованностью. И мне стало больно. То есть, боль мгновенно охватила меня, это я могу утверждать по тому, что старался делать вид, что ничего не произошло. Но тетрадь я убрал, теперь она стала мне ненавистна; только что я сидел, погруженный в счастливую эйфорию, рисовал твой образ; вернее, я подбирался к нему, я предвкушал встречу с ним, я начинал издали, шёл окольными путями, придумывал детали антуража, настраивался, как играющий на бокалах; и вдруг... и вот... ты вошла и одним махом сокрушила эту хрустальную пирамиду – одним своим появлением; твой воображаемый образ столкнулся с живой тобой и не выдержал – разлетелся вдребезги. Ты сидела и разговаривала с парнем, который, наверное, обезумел от счастья – я слышал глуповатый подростковый голос, о чём-то смеющийся, он прерывался вкраплением твоего милого голоса, и вскоре после того вы замолчали. Я, напряженно прислушивавшийся, подумал, что, как и ожидалось, больше не о чем говорить, и рассматривал даже такой фантастический вариант, что ты, попрощавшись вежливо, пересаживаешься ко мне, и уже теперь я становлюсь от счастья блаженным глупцом; сохраняя, однако, трезвость голоса и начиная свой внутренний, по сути, только озвученный с тобой – монолог. И ты действительно оказалась рядом со мною, но ты стояла в профиль, а если бы собиралась сесть рядом, ты была бы обращена ко мне всем своим существом. Я понял, что ты просто собралась выходить на этой остановке. Я повернулся к тебе и сказал: «Привет! извини, я тебя не заметил», как будто тот мой привет, брошенный тебе вслед, когда ты так стремишься к другому в конце салона, остался тобой незамеченным; и ты снова сказала мне «привет» с улыбкой; и мы почти одновременно отвернулись друг от друга; мы синхронно совпали в определении и отмере времени, которое полагается на приветствие и прощание; я повернулся и уткнулся в свою книгу, не став провожать тебя «долгим и мучительным» взглядом; а ты вышла на остановке «Спартак», как собиралась; и я, сидя в отъезжающем автобусе, сопоставлял эту нашу утреннюю встречу с услышанным от тебя вчера, что у тебя «планы на этот день». Я стал думать, какие же это планы. Я не знаю, где ты работаешь – может, это мистическое кафе – на «Спартаке»; может, ты собралась кого-то навестить, может, пробежаться по магазинам, зайти на рынок «Пушкинский», что на «Спартаке» (эта мысль пришла мне в голову уже сейчас, когда это пишу). Я увидел течение твоей жизни – оно не совпадало, не соприкасалось с моим, оно летело и летит сейчас где-то рядом, в пространстве, как орбита (я уже пишу, что в голову взбредет), выписывает причудливые дуги и траектории, – оно похоже на полёт птицы с ветки на ветку, с тротуара на мостовую, с кроны клёна на плитку модных магазинов; оно похоже на солнечный луч, на радиоуправляемый солнечный луч, который, направляясь деятельным и целеустремленным сознанием, описывает спирали вокруг проводов, скользит по крыше пришвартованного автобуса, пробежался по сумочкам и пакетам модниц, застыл у увешанного бижутерией ларька, зарылся в цветные ткани и шали дородных женщин с черными волосами, разговаривающих на гортанном наречии; он (луч) пролетел мимо кованых решёток и поблескивающего аквариума, он описал дугу вокруг памятника неопределенной формы и полетел дальше на набережную; ему навстречу улыбнулось море, оно рябит в глазах

и сверкает отражениями солнца, и вот, ты – один из его лучей, ты пляшешь в его короне, ты, как шарик йо-йо на солнечной веревочке, то взлетаешь в вышину, дальше и выше облаков, то опускаешься к самой воде; но вот веревочка йо-йо рвется, не выдержав напряжения, и остаешься здесь, на земле, навсегда.

(Жизнь удивительна и прекрасна. Не помню, к чему написал эту фразу, но она есть в тетради.)

Ты остаешься здесь, на земле, ты превращаешься в живую, зоркую женщину с необычайно цепким и внимательным взглядом, ты ходишь теперь по улицам и носишь с собой белый сафьяновый саквояж, откуда вынимаешь иногда какие-то зелья и эликсиры и продаешь их. У тебя на шее развесной лоток, а на нем – снадобья; ты что-то выкрикиваешь, зазывая людей; или – нет – не выкрикиваешь, это не в твоей манере, ты просто предлагаешь, а прохожие подходят, прицениваются, что-то выбирают, и вдруг – я оказываюсь одним из таких прохожих; я одет в кожаный светлый плащ, хотя на улице жарко, и я выгляжу точно как Крымов из «Ассы» Соловьева; и еще у меня на руке часы со швейцарским логотипом, а из нагрудного кармана выглядывает золотая цепочка; я произвожу впечатление благопристойности и успеха, и я хочу тебя соблазнить, но ты отвергаешь меня, ты с негодованием бросаешь мне в лицо несколько фраз, затем поворачиваешься к другому покупателю.

Набережная сменяется гаспринскими улочками, изгибающимися и стремящимися, как потоки дождевой воды, к морю; ты стоишь в конце длинной улицы, стоишь возле бордюра, а на нем – тяжелые сумки. Я даже вспоминаю одну сумку – такая сумка, синевато-серая, была в нашей семье много лет назад. Ты стоишь, отдыхая, ты как будто волокла эту тяжёлую сумку снизу, и еще – будто у тебя сотни невысказанных претензий, и сегодня ты собралась на эту тему со мной поговорить. Но вот и это видение изживает себя, улетучивается. Ты на вершине горы. И, несмотря на это, я могу тебя приблизить взглядом. Ты стоишь и смотришь сверху, из-под облаков. Вокруг струится вечер, закат, солнце касается ай-петринских зубцов, рубинит их, окунает в золото и оставляет просохнуть. Ты смотришь вниз, со смотровой площадки, ты перегнулась через перила, но ты не собираешься падать, ты просто очень задумчиво, мечтательно и серьезно смотришь вдаль.

Мне пришло в голову, что ты можешь захотеть учиться чувственности не со мной; ведь я ничему не смогу тебя научить; я знаю только простые ученические движения... только такие простые движения, как приветствие, приветственный взгляд, слово утешения, снисходительное движение руки, переставляющей с места на место мягкую игрушку; я совершенно не осведомлен в области такой симфонически-политональной мистерии, как поцелуй; если мне и случалось механически перебирать его клавиши, то делал я это, копируя внешние образцы, которые моему воображению поставляет кинематограф. О том, что поцелуй – это таинственная завеса, с бархатным шуршанием приоткрывающая волшебный узор звёздного неба на стеклянной стене, я начинаю догадываться только сейчас; и делаю это я, глядя на тебя, наблюдая, как ты вбегаешь в автобус и, повинуясь траектории чувства, облетаешь попытавшийся приблизиться к тебе тяжелый грузовой звездолет, доставляющий с далеких звезд обогащенную руду, и приземляешься на зеленую планету с лужайками и ручьями; ты, как бумажный самолетик, облетаешь этот волшебный сад, созданный твоим воображением; когда ты говоришь, я слышу в твоей речи совершенно незнакомые мне ноты, я прислушиваюсь к ним, как профессор в пенсне, знающий несколько европейских языков – но ни слова не разбирающий в живописных пререканиях туземцев с Ббра-Ббра; и с этого момента мне интересен мир чувств, я тоже хочу приобщиться к нему – но, увы, у меня нет способностей, я вижу чувства нарисованными на бумаге, как и слова, которыми я обозначаю их. Мне кажется, я смотрю на тебя из окна автобуса, из которого ты вышла на своей остановке. Я могу кричать, могу стучать в стекло и царапать его, но ты не обернешься, а если и сделаешь это, то уже после того как автобус отъедет; и даже если предположить, что ты посмотришь именно в тот момент, когда я кричу, что ты

увидишь? фигуру, которая мечется за стеклом автобуса-аквариума и широко открывает рот, но беззвучно; и глаза у этой фигуры ввалились от долгих бесполезных бдений, а движения рук нелепы, потому что царапать стекло бесполезно, и даже стучать изо всех сил – тоже не вариант, так как стекло крепкое. Разве есть шанс, что ты, пронаблюдав этот спектакль, остановишься и, может даже, прекратишь свое стремление в те места, куда зовет тебя такая притягательная сила свободы – свободы женщины, обладающей юной красотой – страшным оружием, которое, как представляется, может сокрушать целые армии; как ультразвук – нажать на кнопки – и многочисленные шеренги солдат валятся на землю, сраженные невидимой и невообразимой силой. Но, предположим, ты вошла в автобус, ты вернулась, ты прервала маршрут, ты поднялась на ступеньку – и ты увидела опять меня, ко мне вернулся звук, и я что-то говорю тебе; ты закрываешь мне рот руками, ты выводишь меня из автобуса и ведешь в свою жизнь, ты вводишь меня в свою жизнь. И – что? Куда я попал? Это волшебный сад Алисы; чтобы оказаться там, нужно уменьшиться в размерах и пролезть в замочную скважину; чтобы взобраться на хрустальные деревья и страсти сапфировые плоды, нужно надеть специальные кошки, которые не вгрызаются в хрупкое стекло; нужно уметь летать, нужно, наконец, родиться в пространстве, где возможно взаимопонимание. Если бы я был твоим ровесником, смог бы я тебя понять? Нет, необязательно; но я был бы из одного гнезда с тобою, а теперь я – мрачный дирижабль, со вздохом скашивающий глаза вбок и ввысь, где стремительно проносится невидимка стелс. Но нет, ты же спускаешься иногда со своей горы, как фея Эвенга, чтобы набрать воды и приготовить ужин; а я стану той водой; я умею это делать, или умел когда-то; надо просто лечь на землю и слушать твои шаги, твои приближающиеся шаги, и расплываться, расплываться, покрывать все выемки и отверстия земли, и, наконец, студеным ручьем влиться в озеро, в тот самый момент, когда ты погрузишь в него свое серебряное ведро; и вот, я оказываюсь в ведрах на коромысле, которое ты вносишь в горницу. Как ты будешь обращаться со мной? Часть меня ты зачерпываешь, набираешь в серебряную лейку и поливаешь цветы...

## Глава III

Я соорудил невообразимую вазу для цветов, для коралловых роз, которые тебе собирался подарить... из пластиковой бутылки; нарезал ножом острые лепестки, они нелепо торчали как осколки разбитого стекла; потом я догадался отогнуть их... Они очень красивы, эти розы, и даже на третий день после покупки они еще не увяли. Глубокий алый отлив; цвет лепестков густой и насыщенный, но в то же время солнечный свет легко пробивает их и разбрызгивает капли краски по стенам и стеклам. Я собирался купить обычные бордовые розы, но те оказались мрачными, неподходящими к веселому свету дня. Мне почему-то было бы интересно угадать, сколько еще они простоят? неделю? в это воскресенье я сфотографирую их и сопоставлю со своими чувствами. Да, сердце разбито вдребезги, но вчера у меня появилось ощущение второго дыхания. Из небогатого чувственного опыта мне было известно, что разбитое сердце не вылечивается сразу, а только спустя некоторое время; мучительная боль, невозможность думать о чем-то другом, постоянная горечь в груди, словно слезы вот-вот наполнят резервуар и перельются через край – все это не проходит сразу, но ты постепенно избавляешься, словно смываешь с себя очень въедливое вещество – вещество любви. Но вчера во мне ожила какая-то нечаянная радость, которая, сохранив остроту чувства, в то же время дала мне возможность увидеть мир другим, неотягощенным взглядом. Мне это представляется чудом. Потому что слишком очевидна внешность, непридуманность этого источника радости. И теперь, сегодня, я думаю о тебе, но это не заслоняет от меня мира; у меня появляются какие-то планы, и нет этой рабской зависимости от другого человека; хотя, когда я думаю о тебе трезво, я слишком хорошо вижу, что тебе в данный «сезон» времени совершенно все равно – хотя раньше тебе вроде было интересно, что я производил на свет с помощью разветвляющихся фраз и необычных ритмических сочетаний. Может, прочтешь потом; может быть, ты притворялась, а теперь, вошедши в мир чувственных и, наверное, физических отношений с людьми, решила, что это «не твое»; женщины вообще на деле равнодушны к искусству, как и мужчины. Нельзя любить искусство и планировать его любить; то есть, быть любителем искусства и в промежутках между актами любви (которые выражаются в чтении, рассматривании картин, ассоциировании и связывании различных опытов в более-менее взаимозависимую картину проблесков прекрасного) думать о себе, как о том, кто будет любить искусство, и будет считаться таковым в глазах окружающих. Искусство можно только делать. И делает его не маститый прозаик с наканифоленными органами метафоротворения и сюжетообразования, а, скорее, необразованный воспитанник профтехучилища, который вдруг прочел «скажите же червям, когда начнут, целуя, вас поглощать в земле сырой, что тленной красоты навеки сберегу я и форму, и бессмертный строй», и ему это показалось значительней, чем речи батюшки о бессмертии души и вере, откуда он до сих пор черпал свои скудные представления об эстетике или чем-то подобном. Неважно, что потом (хотя, учитывая короткость жизненного срока, важно) он пойдет за пивом и в примитивнейшем диалоге с «друганами» утопит все крохи небесного хлеба, почти случайно выхваченные. В конце концов он вернется – пусть это будет даже под конец жизни. В конце концов ты вернешься, скорее, это произойдет гораздо раньше, когда у тебя появится интернет, который ты сейчас совершенно справедливо считаешь ненужным излишеством, расслабляющим память и деятельное воображение. Но есть и положительная сторона – слепки наших душ, которые в очном диалоге бывает трудно и даже невозможно разглядеть; мы как бы совмещаем увиденный образ с реальностью, и это то, о чем говорил Китс: «Видеть, чтобы воображать, и воображать, чтобы понять смысл увиденного». А вообще, я, обратившись мыслью к тебе и вспоминая свой опыт, утверждаюсь в одной радостной новости, быть может, она и тебе покажется верной: счастье любви – в факте существования этого человека, потому что ничего больше мы

не можем потребовать. И в радости, и в надежде видеть его хотя бы изредка. Я надеюсь, что скоро увижу тебя, хотя в графиках и не нашел точных дат и цифр.

## Глава IV

...Единственно, на что меня хватило, – это вывести крупными буквами: я не могу без тебя. Эти слова звучат в тишине, к которой не хочется прислушиваться, потому что знаешь – прислушиваясь, начнешь различать посторонние (чуть было не написал «потусторонние») звуки, звуки, которые своей обыденностью уже словно бы рассказывают новую историю и сбивают меня с пьедестала моего великого горя. Если я прислушаюсь, то различу журчание воды; я придумал бы, что она бежит из-под крана – эдакий неперенный признак былых коммунальных квартир, где плохо закручивался кран; и слышно, «как булькает влага по трубам внутри батарей», и «сырость капает слезами с потолка». Но на самом деле кран в квартире закручивается хорошо, и то, о чем я говорю – постоянно обновляющаяся жизнь, – которая словно бы рассказывает новую историю – это плод моего воображения; мои когда-то читанные впечатления о переживших горе и пытающихся утешиться пением птицы, журчанием реки, голосами на улице. Я могу включить чайник, и он начнет издавать звуки нагревающейся воды, но это не выведет меня из состояния горя; горе заключается в том, что с трудом заведшийся механизм остановился в растерянности – ожидаемого путешествия не будет. Странное дело – я начал писать, и у меня буквально отлегло от сердца, и даже об этом эффекте я знаю, и, можно сказать, начал я выплескивать себя еще и с этой целью – пропустить через шредер мысли и рефлексии печальный рисунок, который вышел в эти выходные. Собственно, это не рисунок, а грустный казус расстроенного воображения. Я должен запретить себе глядеть на ее фотографии, которые я заботливо скачал откуда только возможно. Я смотрю на эти фотографии, слушаю чудесную музыку и, кажется, уношусь в такие дали, куда немисливо забраться воображению; но чем дальше, тем больнее разрыв между этим придуманным образом и живым существом. Живое существо Маша. Все разбилось о странный, как корабль на волне, факт твоего бытия. Все мысли и установившиеся цепи, связывающие меня и других. Образ великой былой любви поблек. Почему? Даже не хочется вдумываться в это, потому что понимаешь – существование живого человека опрокидывает все нагромождения.

Чувствуешь себя как клоун, с лица которого сошла краска, но он еще пытается сравняться с другими, блещущими своими румянами и накладными ресницами.

Иногда мне приходит в голову, что это – простой расчет. Конечно, не все абсолютно чувства девушки – расчет, но в общем-то она стремится обустроить свою жизнь наилучшим образом, да еще и в самое благоприятное время. Что-то я скатился от возвышенности к холодному перебиранию выгод и потерь. Она написала: «Помните, мы с вами договаривались в воскресенье пойти на море?» – Помню ли я? да я всю неделю этим жил только. Цветы в ванной... Хотел поставить их на стол, в банку какую-нибудь, так как вазы у меня нет. Потом решил – пусть уже лежат в том состоянии, в котором они были предназначены к своей миссии. Бутылка дюшеса в холодильнике тоже пускай лежит. Не сделаю ни глотка... Сейчас приду, посмотрю на цветы – не завяли еще? Коралловые розы. Я хотел сначала традиционные бордовые. Но они смотрелись мрачно. А эти – яркие, красные, но не алые, такие – оттенка чешского стекла, с глубоким отливом. Под ярким солнцем они смотрелись бы весьма мило...

...хотя тосковать по тебе – благо, и даже сейчас, когда чувства, словно бы всколыхнутые океанской волной, постепенно успокоились, я перебираю в памяти те редкие крохи соприкосновения, которые остались в памяти. Камешек, что я подарил, и ты обрадовалась. Обрадовалась таким образом, что мне это показалось добрым знаком. Выходит, я ошибался? То странное чувство, вызвавшее мгновенный зрительный образ, когда, после воскресного нашего с тобой дуэта, собирался заговорить с тобой и внезапно увидел тебя в чьих-то объятиях... Образ возник такой: будто по сердцу царапнул острием узкий кухонный, с насечкой, нож, но и будто и сердце мое было обернуто в поролон (именно в поролон); и острие ножа не причинило мне

боли, только вонзилось в поролоновые ткани и, не имея намерения проникать глубоко, скользнуло по ним и вышло. Иногда примешивается обида, что ты отказала в безобидном походе на море. Чувствуешь себя слегка социально растоптанным. Мне хотелось поплавать с тобой, покружиться вокруг тебя в глубине дельфином, потаскать за ноги, сплавать до буйка, понежиться на мелких и ласковых камешках у кромки прибоя. Но твоя траектория иная...

## Глава V

Хочется писать, обращаясь к тебе. Невзирая на то, что уже довольно давно горизонт заслан тучами; или, скорее, наоборот – горизонт девственно чист, ясен, кайма моря приторочена к атласной блузке неба, и солнечный свет ярко и очевидно демонстрирует отсутствие каких бы то ни было надежд. Надежд на встречу, на несколько ничего не значащих слов. Боже, сколько я произношу речей, обращаясь к тебе – будучи наедине с собою; и тут же одёргивая себя, помня, что это ни к чему не приводит. Или приводит к отдалению живого человека. Раньше, года три назад, будучи влюбленным, да нет, что там – переживая огромную, единственную, невозможно великую любовь, я только и делал, что разговаривал с нею; мне не наскучивало проходить по несколько километров, потому что эти часы были заполнены диалогами. Все время приходится говорить – ущипни себя. И напоминать: вернись, вернись. К слову сказать, часто я представляю, что увижу тебя, тем более что проще простого встретиться в Гаспре, – и летом, когда нет учебных штудий. И, если честно, я боюсь этой встречи. Памятуя о том, как я тебя не заметил недавно в автобусе, я теперь оглядываю внутренность автобуса самым добросовестным образом; однако тут же сам себе говорю – ну и что такого, если не замечу. Вообще, не заметить, не узнать человека – я поражаюсь, как это для меня возможно, прежде всего и потому, что я намеренно декларирую презрение и равнодушие к окружающим. Но поиск знакомого, единственно вызывающего интерес лица – сопряжен с заглядыванием в другие лица. На доли секунды, чтобы хотя бы убедиться, что это не она. И что я там вижу, в этих лицах? Все ту же свою убежденность, что не стоит... что они не стоят внимания; все мысли читаются, вся сущность приветствий и обменов любезностями – как на ладони. Низкий, пустой народ. Но, может, я несправедлив? Это вынуждает меня обратиться к мысли, зачем я живу, как понимаю свое существование и, в частности, в данном географическом регионе. Я живу, как будто не задержусь здесь, а между тем живу уже долго и подозреваю, что не буду двигаться с места. И к людям я отношусь не как к маякам на пути следования моей лодки извилистым фьордом жизни, а как к случайным и досадным событиям, которые могли бы и не произойти, но, раз уж происходят – пусть их. Твое существование что-то меняет; быть может, оно даже меняет для меня все; мысля тебя как жителя данного региона, я вынужден представлять и весь круг твоих занятий и интересов, и как это все соотносится с занятиями и интересами живущих здесь. Кто они? парикмахеры, медсестры, строители, продавцы, учителя, кассиры, водители, отцы семейств, почтенные матроны, пенсионеры с замедленными движениями. У всех у них – я недавно прочел Шопенгауэра – есть достаточное основание для собственной жизни. Они уверены, что живут совершенно оправданно, что этот воздух, который они выталкивают впереди себя на прогулке, принадлежит только им. А как они ведут себя, проникая без зазрения очереди вперед тебя; и, наоборот, как агрессивно и самодовольно орут, если ты по каким-то причинам, или, по втемьяшившемуся им в голову представлению, незаконно опередил их.

Я возвращаюсь к тебе. Я испытываю к тебе странную нежность, и у меня такое чувство, что в эту нежность нужно постоянно подкладывать сухой хворост стремления мысли и чувства, но это необременительно для меня; хотя, вспоминая, как я относился к тебе даже в течение этого года – я гляжу на себя сейчас и понимаю, что внешне ничего не изменилось, внутренне – сработала какая-то пружина, какая-то внутренняя недосказанность ищет выхода, вернее, начала его искать; засутились маленькие кровяные тельца, кровь побежала быстрее, по нервам и жилам задвигались, как по коаксиальному кабелю, образы и картинки, и, оказываясь перед необходимостью ничего не делать или делать все как раньше, я спрашиваю себя – стоило ли начинать, стоило ли разбирать глухую стену восприятия и сваливаться с кирпичной стены на проезжую часть дороги. Ведь на дороге ты всем только мешаешь; тебя объезжают, тебе сигналият, тебе приходится уползти на обочину, и там, на травке, в кустах – придумать,

куда необходимо добраться. И перво-наперво нужно обзавестись средством передвижения. Прошло уже полгода, а до этого – еще два года, с тех пор как меня посетила такая мысль, но ничего не изменилось; но в последние несколько месяцев изменения медленно – но происходят; и я надеюсь, что скоро, в какой-нибудь ненастный день, я подлечу к тебе, одиноко стоящей под дождем в ожидании маршрутки, подхвачу и умчу в направлении вверх; мы взойдем над лесом, над горой Курчатова и предгорьями экопоселка Горный; я словно бы вижу эти вздымающиеся остроконечные шпиль сосен; они будут там, внизу, они будут проплывать – мы полетим над ними – медленно, как на воздушном шаре, но в то же время быстро; полотно дороги внизу будет узким, на нем едва различим автобус, который чуть не увез тебя, прежде чем я сумел его опередить. Мы поднимаемся все выше; воздух посвежел, иногда нас колышут встречные потоки ветра; мы летим, впереди солнце садится за гряды гор; мы летим в направлении этой гряды, но солнце село раньше, чем мы долетели, и почти сразу настала тьма. И звездное небо нас окружило. Мы летим, как Коровьев, Маргарита, Азazelло и Фагот у Булгакова – в том же пространстве и с теми же звездами; внизу силуэты гор и домов; мы оказываемся над нашим поселком. Сейчас мне надо отвезти тебя домой, но мне не хочется тебя отпускать. Однако попадать в четырехстенное пространство своей квартиры я тоже не хочу. Выход есть – облететь Землю; и мы полетим сейчас на юг, в сторону Турции. Море будет всю дорогу лунно блестеть под нами. Мы коснемся турецкого берега, пролетим над Малой Азией, ее горами и перевалами, заметим в лунном свете храм Зевса, пронесемся над Ливаном и Палестиной, окинем взглядом эти пустынные лунные земли и окажемся рядом с Иерусалимом. К Голгофе приближаться мы не будем. Лучше продelaем маршрут, которым некогда шествовал Иосиф, проданный братьями в рабство – в Египет. От ветвистого устья Нила мы полетим вверх по этой змеистой сверкающей реке, и крокодилы, заслышав шум мотора, будут бросаться ребристыми огромными телами в лунную воду с уступов. И мы окажемся в верховьях Нила. Где-то, в чаще, рядом с небольшим озерцом, я разведу костер; чаща осветится неровно, из тесноты ветвей будут с удивлением выглядывать длиннохвостые и яркоперые попугаи, удивленные тем, что их разбудили посреди ночи. Да, это определенно картина рая – Питера Брейгеля. Мы останемся здесь до поры до времени, пока солнцу не придет пора «надеть на гребень огненный венец», и дню – излить свою роскошь на пробуждающуюся природу.

## Глава VI

Я очень хочу, чтобы сейчас пошел дождь. Потоки воды будут литься с небес и заглушать течение слез. Я растворяюсь в сентиментальности. Звуки этой мелодии капаят и звенят, звенят сентиментально, как колокольчики, и в то же время они будто сливаются воедино с твоим образом; и уже эта мелодия – самое верное, что будет напоминать о тебе. Время опять поделилось на невозможные периоды. Как у Франсуа Мориака – невозможно, чтобы это продолжалось даже минуту. И в этот момент что-то происходит. Но в случае с тобой я понимаю – неоткуда ждать надежды. Я ставлю себя на место человека, который переживает подобное томление; при этом, скажем, этот человек влюблен в меня, а я об этом ни сном ни духом не ведаю. Для меня в этом случае время будет идти размеренно, неспешно, для того человека оно станет набором состояний – безысходность, негодование, уныние, покорность, тоска, апатия, механистичность движений, чередование все более ослабевающих картин, ослабевающих от невозможности увидеться. Этот человек пройдет стадии надежды, ожидания, томления, критической отметки, фатализма или равнодушия; возможно, он попытается сохранить врученный ему факел любви; но, может, выбросит в пруд, как в «Конане-варваре» – только что таинственно мерцавшие в темноте рои огоньков превратились в мокрые спички, заполнившие гладь фонтана. Может ли человек вообще существовать без влюбленности? Да запросто. Большинство из нас к этому стремится, стараясь избегать треволнений любви. Это бессонница, это постоянная проверка себя «социального» на прочность – что я для нее, кто? как мне поразить ее воображение? потом понимаешь, что женщина сама делает выбор; если она выбрала, то счастливому обладателю лотерейного билета не нужно особо напрягаться – она будет превращать его недостатки в достоинства, его неразвитость – в милое дикарство, любые его слова будут обдумываться и наделяться важным смыслом, и при сравнении с другими предпочтение отдастся ему. Но все равно вынашиваешь в голове множество планов, один мечтательнее другого – то ты собираешься ей что-то подарить, то где-то оказываешься рядом и много раз подряд прокручиваешь воображаемую ситуацию, воображаемые слова – и, потешившись так, ты возвращаешься к своим занятиям, уделяешь им какое-то время, но вдруг мысль о том, что она – с другим, и кому-то достаются знаки внимания – эта мысль заглушает перебираемые струны привычных занятий, и ты снова приходишь к тому, что делать надо что-то, что связано с ней – и ты берешься за эту писанину, заранее зная, что мало кому это нужно, и мало кто, как гоголевская птица, долетит до середины текста; но чувствуешь себя одновременно и отважным путешественником в ледовой пустыне; ты зажигаешь эти костры слов, и к ним сходятся редкие обитатели полярной фауны, привлеченные теплом. Может быть, может быть, какое-то тепло все же исходит от этих слов, и ты, сидя у холодной стены и даже, может, получая его из глаз своего избранника, почувствуешь, как я стремлюсь к тебе на таких вот безнадежных крыльях, как тот сумасшедший, что прыгал с колокольни.

Я начал писать что-то о бабочке – а потом оказалось, что среди твоих фотографий есть фотография рисунка на стекле – бабочка и цветок. Наверное, это твой рисунок (позже я узнал это от тебя при встрече). Другое совпадение – когда я искал оттенок аметиста (для подарка), я сразу выбрал один, фиолетово-сиреневый, и достаточно яркий; а потом оказалось, что среди твоих фотографий есть точно такого же цвета – на ней изображено какое-то цветущее дерево. Сейчас вечер, и мысли мои смешались. Оказалось, что в пространстве ты совсем рядом. Но это тот случай, когда, будь это даже соседняя дверь на этаже, расстояние все равно измеряется световыми годами. В том случае, если не будет повода его преодолеть. А повод есть. Но я не двигаюсь с места; даже несмотря на то, что мне кажется – вот, еще немного потяну время – и все

пропадет. Но я не куплюсь на эту уловку времени. Мне кажется, такие вещи, как преодоление расстояния в этом случае, должны выдерживать его напор.

Вечер сменился глубокой ночью; я не пойду сегодня, как вчера, на разведку к дверям твоего дома; на разведку – чтобы убедиться, что такой дом и такая квартира действительно существуют в природе и на этой улице. Эти жаркие вечера пробуждают воспоминания, которых нет. Есть только желание вспомнить что-то – вернее всего будет сказать: «из прошлой жизни»; но скорее всего, это «что-то» из детства; какие-то подобные жаркие ночи, с раскрытыми окнами, духотой и непонятным брожением в крови. Вечность назад это было. Главная, наверное, разница между теперь и тогда – это одиночество души и духа, обособленное, закрывшееся в своей башне из слоновой кости. Тогда же, я вспоминаю, были чьи-то приезды, разговоры, сидения на кухне, между тем как дети засыпали в комнате. Квартира маленькая, меньше той, в которой сейчас я нахожусь, «хрущёвка»; и «в наши дни», оказываясь там, я всегда поражаюсь мысли о том, как она могла быть вместительнее всех наших детских впечатлений, болезней, страхов, радостей, средоточием стремлений и желаний, местом для чтения и праздников, местом, где можно было предаваться мечтам, спать, встречать новый год, общаться с родственниками, приезжавшими из другого места жительства в городе. Когда я думаю, пытаюсь воскресить какие-то события, всегда спотыкаюсь о мысль – как же этого мало. Впрочем, это, наверное, недостатки памяти. И, скорее, неумение использовать её правильно. Правильно – это таким образом, когда заструятся доселе молчавшие источники, побегут ручьи слов и оборотов; речь убыстрится и засверкает эпитетами; конструкции предложений усложнятся, и станет возможным окидывать внутренним взором большие пространства слова и мысли.

бабочка таинственного сада —  
хрупкий блеск твоих прозрачных крыл  
наслажденье, негу и отрады  
дóтоле неведомы открыл

что теперь мне рощицы иные  
после сени райской тишины...  
видел я сквозь крылья расписные  
край блаженной, призрачной страны

и вкусить желал от наслажденья,  
отрекаясь и добра, и зла  
в бесконечность, райские владенья  
взмахом крыл ты за собой вела

но проснулся я, как рыцарь бледный  
в одиноком замке голых стен  
улетучился, исчез бесследно  
крыльев бабочки манящий плен

но не сени райской я взыскую —  
что мне рай в его прозрачной мгле —  
каждый божий день теперь рисую  
крыльев взмах стоцветный на стекле

## Глава VII

Любовь – величайшее чудо, потому что притяжение одного человека к другому невозможно объяснить ни естественными, ни сверхъестественными причинами. И она же одновременно есть рай, потому что изобилие райского сада происходит от переполняющей сердца любви; и она же одновременно есть бог, потому что невозможная, непонятная смертным радость, по сравнению с которой благоденствие богача кажется бледной стоячей водой, возможна только в боге и от бога. Радость любви незаметна никому, кроме чистых сердцем. Радость любви никому не нужна, кроме чистых сердцем и жаждущих вечной жизни. Радость любви так же сильна, как физическое страдание, и страдание есть отражение любви в зеркале земной суеты. Радость любви пересиливает сомнения, терзания, душевный голод, ужас и страх перед будущим, отравляющие воспоминания прошлого. Все это меркнет и перестает существовать, когда человека охватывает радость любви; но возвращается с небывалой силой, если радость любви покинула вас. Однако радость любви никогда не отнимется ни у кого. Только у некоторых она перейдет в отчаяние. На дне великой радости любви всегда есть горечь отчаяния. Отчаяние для отчаявшихся – в невозможности соединиться. Для сохранивших радость – в невозможности любить другого – кроме любимого – человека. Любовь так же единична, как камень, лежащий среди миллионов своих собратьев на берегу – разве найдется хоть один такой же? Любовь – это уникальный индивидуальный код к замку, навешенному на ворота восприятия; любовь откроет все двери познания и выведет из любой трясины привычек и обрядов. Любовь – это самый неожиданный дар, потому что сложно представить, как ты ждешь, что тебе подарят любовь. И этот дар у тебя в руках, он дан тебе, чтобы высвечивать, словно фонариком, свои внутренности и хранить частичку огня. Но вообще он дан, потому что только состояние безудержной радости будет оправдано в ином измерении; он дан как кратчайший путь к блаженству вечному и к его обителям.

Двадцать первое августа, накануне поездки.

Вокруг ночь, но уже третий час я не могу уснуть. Образы, речи, взгляды переполняют меня. Так неожиданно все разрешилось. Весь этот день, с раннего утра, я боялся. Я боялся двигаться в том направлении, которое избрал; а выбрал я путь, приводящий к тебе. У меня было с утра несколько дел, и я с облегчением предался им, чтобы только оттянуть тот час, когда необходимо будет встать и идти. Я даже забыл, что сегодня вечером на службу. Звонок напарника вывел меня из состояния оцепенения, но на службу я все равно не пошел. Я позвонил и узнал от третьего лица твой адрес – вернее, она рассказала мне, как туда добраться; это оказалось в трех минутах ходьбы от дома.

Дальше – пиршество. Начиная с того момента, когда я сидел за столом, вел беседу. Ты сидела напротив, и в глаза твои можно было украдкой и неукрадкой окунаться. Беседа довольно быстро из обличительной превратилась, в общем, в дружескую. Хотя твои родители своеобразны, но это не помешало им участвовать в разговоре. Долгим и в то же время незаметным получился разговор. И теперь я завтра буду весь день с тобой. Наверное. У меня ощущение, будто я одним глазом вижу райские обители. Непрерывно. Это странно, если учесть, что там, как предполагается, будет очень яркий «нетварный» свет. Самое удивительное – то, как эти два года промелькнули и сложились в одну застольную беседу. Самая близость к тебе мешает писать. Сейчас текст мой был бы исполнен глубокой тоски, он бы разветвлялся, змеился несбыточными предположениями, фонтанировал гроздьями оборотов. Но теперь я питаюсь мыслью о близости к тебе, бесконечном времени, которое я завтра проведу с тобой.

Глубокая ночь, я не могу уснуть. Я не хочу, чтобы текст заканчивался. И не хочу, чтобы заканчивалась ты.

## Глава VIII

Твой образ постоянно со мной... Он настоящий, я постоянно вынимаю его из сердца и держу перед собой, подношу к самым глазам, оттуда выкатывается крупная слеза, падает на изображение, и лик твой преломляется в этой капле; я вновь убираю твой образ в сердце, но не закрываю этот киот на ключ, потому что вскоре опять рука потянется достать его. Но, когда я не гляжу на твой образ, я все равно думаю о тебе, я говорю с тобой, я рассказываю тебе все то, что не успел рассказать позавчера – а я почти ничего не успел, хотя мы были вместе весь день. Но я вспоминаю, что многое не досказал, упомянув одно, я забывал про другое; так, рассказывая о том, как я «признался в любви», я забыл сказать о том, что другому человеку, вернее, третьему, который в тот момент находился рядом с нами, тоже стало хорошо от эмоций, перехлестнувших через край, и, видимо, окативших всех, кто так или иначе находился в радиусе нашего разговора. Я рассказал тебе содержание пары фильмов, я о чём-то упоминал и все время чувствовал, что слов не хватает, что я постоянно залезаю в дебри, откуда не знаю дороги, говорю о вещах, о которых имею смутное представление – и я признался тебе в этом, и ты поняла и приняла это, с улыбкой и смехом; ты вообще все понимаешь, и, идя вместе с тобой по лесной дороге и говоря тебе что-то, а потом останавливаясь, чтобы уточнить и иначе осветить то, о чем только что говорилось, я... у меня перехватывало дыхание от того, что меня так слушают и так понимают; я никогда, никогда раньше не встречал такой точной и правильной реакции на свои мысли; еще и возник эффект, когда я, который проговаривал разные вещи как бы в разговоре с тобой раньше, теперь, в действительном разговоре, увидел настоящую реакцию, и она была такой, как и предполагалось. Точнее, эффекта никакого не возникло – просто можно было говорить, можно было сбиваться, смеяться над этим, умолкнуть, если мысль терялась, честно признаться, что слишком далеко ушел в сторону от главной мысли, чтобы её вспомнить; ты все понимала и слышала, с тобой интересно говорить, ты умеешь слушать и обладаешь рассудком и здравым смыслом, и юмором, чтобы смеяться над действительно смешным в окружающем нас пространстве; и ты... Кажется, мы начали с тобой говорить на том самом месте, где, в полдень, возвращаясь с источника, сели на траву отдохнуть. Да, кажется, это то самое место. Утром мы ехали с твоими родителями часа два, и последние несколько километров – по лесной дороге, колдобистой и ухабной. На развилке мы остановились, твои родители вышли, а мы остались вдвоем, и я о чем-то спросил у тебя. Или что-то сказал – кажется, я делился впечатлениями этого утра, когда почти всю дорогу из Ялты мы читали акафисты и пели духовные песнопения. Я сказал тебе, что вначале мне это показалось лишним и обременительным, но потом я «втянулся», потому что решил принимать все в этот день. Потом мы приехали в монастырь, к концу службы; помню, как мы вышли из церкви в яркий солнечный день, овеваемые прохладным ветерком, и пошли вниз – с тобой и твоей мамой (которая младше меня на год). И здесь мы опять стали говорить – но недолго – мама твоя хотела, чтобы мы подошли к «старцу», который бы ответил нам на наши вопросы. Старца поддерживали под руки двое послушников; ему было очевидно тяжело ходить, он все время как будто перегибался в пояснице, и было ощущение, что его верхняя половина вот-вот отделится от тела. Он был очень приятен и открыт, но говорил странно, как будто перескакивая через два-три связующих звена – поэтому главная мысль его речи скорее угадывалась и достраивалась самим собеседником. Он сразу захотел, чтобы я остался в монастыре, и стал указывать в направлении строящегося здания; я понял, что здесь нужны рабочие руки, и стал прикидывать варианты, при которых я мог бы остаться. Ты стояла рядом, пока старец говорил мне что-то; он говорил не только о здании, понимать его было сложно, но я, подавшись вперед, слушал его, показывая, что если даже и не понимаю до конца, о чем идет речь, то напряженным вниманием искупаю свой грех; параллельно я видел тебя, стоящую рядом и ждущую своей очереди,

и поэтому мне было немного неудобно заставляя тебя ждать; но я сказал себе, что здесь так принято, и успокоился. Вскоре твоя мама, кажется, именно в этот момент настойчиво предложила спросить у старца, что мне делать в отношении моей жены и моей семьи. Я начал говорить: «У меня есть жена...» или: «я развелся с женой...» – что-то подобное; и внезапно интерес у старца угас; он явно перестал слушать, я даже не стал заканчивать первое предложение. Я действительно не знал, о чем мне спрашивать, о чем честно и сказал твоей маме; после этого ты подошла и попросила благословения пойти на источник. Ты и утром, когда мы приехали и вышли из машины, уже упомянула об этом источнике и желании пойти туда. Тогда мне представлялось, что источник где-то неподалёку, как церковь на холме – а монастырь метрах в двухстах ниже; но источник оказался дальше. Ты попросила благословения, и кто-то, кажется, даже сам старец сказал: ну как же ты одна пойдешь? Тут я произнес – «благословите меня пойти с Машей»; старец сразу сказал: «Конечно, благословляю, ты – воин Христов...» – или: «Такой воин Христов – конечно, идите...» – что-то такое. Кажется, если даже мама твоя была – не то чтобы против – но не совсем «за» – такого оборота событий, – то после благословения все решилось. Мы взяли рубашки для омовения, чего мне не хотелось делать, так как я представлял себе некий пляжный вариант. Огромная из грубой ткани рубашка – рубище, хотелось сказать. Плюс к этому твоя мама наказала прочесть акафист – там, на источнике. Мы пошли, стали подниматься в гору, и счастье разлилось во мне постепенно, как вода из ведра, которое забыли под открытым краном. Я хотел сфотографировать тебя на фоне встретившихся коз – или овец – скорее коз; ты отказалась, что не помешало мне назвать тебя агнцем в стихотворении, которое я сочинил под утро следующего дня, то есть, той же ночью. Ты отказалась сфотографироваться, и во мне шевельнулась самоассоциация – турист, забредший в некую патриархальную страну – и табу среди туземцев на фотографирование, которое «похищает душу». Но это был еще один повод почувствовать себя недостойным и обвинить себя в чем-то греховном. Однако все это лишь мелькнуло. Мы поднялись на гору, потом стали спускаться. Если б я мог, я бы восстановил весь разговор по репликам. Впрочем, это не нужно; нужное само всплывает в необходимый момент. Помню, я прочитал тебе стихотворение «Ты – светлый горизонт рассвета...», посвященное М.П., и сделал паузу перед конечной строфой, где раскрывался смысл: «Вписать параболу «люблю»... Я остановился на дороге, читая это; и ты поняла, ты совершенно точно прочувствовала, что я имел в виду. Мое восхищение и блаженство возрастало. И я сказал тебе – как мне с тобой хорошо! Боже, тебе можно говорить все! Все, что думаешь, что чувствуешь! Иногда я отворачивался и говорил это про себя: «Боже, как хорошо!» Потом глядел на тебя и произносил то же самое. Обычно я делал так в любых обременительных условиях – на работе, на службе. Бегаешь или чем-то занят, устал – отводишь взгляд в сторону, и – «Машенька, Машенька, милая...», – сразу легче. А тут – «Машенька, Машенька...» – в сторону, поворачиваешься – а ты стоишь здесь передо мной. Такое стереоблаженство. Как будто стрела нежности, благодати пронзает тебя насквозь. Струя, волна счастья перекачивается через тебя. Мы идем дальше; я совершенно не разбираю дороги, не запоминаю – я полон только тобой; о чем мы говорили дальше, не помню; путь был длинным, но вот, наконец, пройдя участок лесной дороги, мы внезапно оказались на источнике. Внезапно – потом что дорога уходила дальше в лес, и я мысленно представлял себе, что нужно идти именно туда, а ты вдруг говоришь – все, пришли! Источник – это такая бетонная ванна прямоугольной формы, выдающаяся примерно на половину дороги; вода вливается сверху из плиты и вытекает с противоположного конца, и бежит в лес. С обеих сторон в ванну спускаются ступеньки, которые позволяют спокойно войти в воду. Мы стали читать акафист. Читать и петь. Когда нужно было петь, ты не сразу подхватывала, а я давал настройку, но что-то не сходилось, и я помню, что начали срабатывать навыки регентства – грубоватое подталкивание – «вперед, вперед, подхватывай!» Но потом я сказал себе – успокойся. И стало действительно спокойно. Потом, дочитав акафист, мы приготовились к омовению. Ты ушла переодеться назад, за поворот дороги, так что я не видел

тебя за деревьями. Я разделся и натянул на себя «рубище». Потом спустился по ступенькам в воду. Градусов шесть. Я выскочил очень быстро, но помнил, что нужно войти еще два раза. Холод хватал цепко, но, так как я быстро выпрыгивал из воды и погода была жаркой, я вполне успешно справился с испытанием. Потом, когда я уже стянул мокрое рубище и опять оделся, появилась ты. В такой же длинной рубашке, с рукавами. Она была более нарядной, чем у меня, светло-ржаного цвета, украшенная цветами. Одевшись, я не стал уходить, повернувшись впол-оборота. Ты вошла в воду, воскликнула от холода (а может, это я воскликнул), но осталась стоять. И ты стояла примерно по пояс – чуть выше – в ледяной воде, и, не вылезая из нее, трижды погрузилась с головой. Твоя фигура в этой длинной рубашке с цветами, осеняемая крестным знаменем, будет всегда стоять у меня перед глазами. Мне представлялось, что я смотрю на икону. Ты переоделась, и мы, набрав воды, пустились в обратный путь. Через некоторое время мы остановились отдохнуть, хотели найти поляну в глубине леса, а потом просто сели в траву у дороги и достали нехитрые припасы. Я рассказал тебе о фильме Соловьева «Сто дней после детства»; пересказал концовку фильма – где герой говорит: «Давай запомним это лето», ты как будто тоже его видела; я хотел, чтобы ты поняла эту мысль – запомнить все, что с нами было. Ты поделилась тем, что у тебя было на телефоне – аудиозаписью сочиненной тобой миниатюры. На заднем плане слышались голоса детей, я понял, что записывали в квартире. Я был удивлен ясностью музыкального языка. Легко различалась основная тема, за ней шло развитие, и мне показалось, что сейчас разнообразные аккорды разбредутся по тактам и «утихнут вдаль», как колокольный звон, доносящийся с дальнего холма. Но вдруг зазвучала начальная тема, и произведение обрело форму. Слушать было приятно и просто. Я был рад сказать тебе об этом. Потом, позже, когда мы подбирались уже к монастырю, мы затронули этот вопрос – сходства и различия творческого начала и импульса в музыке и литературе; и ты сказала, что для тебя это не составляет проблемы; творческая мысль для тебя одинаково ценна и понятна в двух этих родах искусства; и я заметил, что у тебя в большей степени выражен музыкальный дар. Мы говорили о теме и ее разработке; я даже что-то напел, а потом попытался развить эту мелодию; читая раньше немногочисленные твои стихи, выложенные в контакте, я отметил их принципиальную «миниатюрность»; по своей форме они предполагали совсем небольшой объем и сгущенную, концентрированную эстетическую идею, которую можно было бы описать как внезапно выпархивающую на волю из клетки и устремляющуюся в небо – птицу. Я мысленно сравнил это со своим видением. Я помню, что говорил тебе, как ты необыкновенно чутка к прекрасному – и повторил тебе это потом раза два.

Мы вернулись – хочется написать «в лагерь»; на самом деле – в монастырь; было около двух или трех дня; твой отец чем-то был занят по строительству, я стал ему помогать, полез на стенку строящегося дома снимать доски опалубки. Потом искал длинные железные пруты арматуры; они были разбросаны, по его словам, в траве; но там мы нашли только один прут, а три остальных, что были необходимы, добыли в самых разных уголках территории монастыря. Комбинация «ты, я, твой отец» обретает отличный от общелитературного смысл, если указать, что отец твой – мой ровесник и давний знакомый. Ты делала что-то по хозяйству, в промежутках подходила к иконе и читала молитвы. Потом ты села с книгой, держа ее на коленях. Я увидел название: «Девятая глава» и подумал, что это какой-то духовный роман, но это оказалось Евангелие (собственно, Евангелие и есть «духовный роман»). Потом была трапеза, где блаженство усилилось, так как я оказался рядом с тобой. Планировалось уехать сразу после трапезы, но через некоторое время многие из приехавших стали подходить к старцу со своими вопросами. Твоя мама вновь сподвигла меня к разрешению своего вопроса, который я так и не смог из себя извлечь. Едва я начал вновь: «у меня жена... я развелся с женой...», как старец безучастно склонил голову и стал говорить что-то, совершенно не имеющее к этому отношения. Потом он дал мне три свечки – две за здоровье, и одну за упокой – и наказал поставить их сейчас на службе. Я вышел с легким сердцем, ты стояла рядом, там же, где я говорил

с тобой до отправления к старцу; я тут же рассказал тебе все, как было; и мы отправились на службу – снова вверх по склону. Служба была длинной, в соответствии с уставом; через несколько минут после того как мы вошли, я присоединился к певчим; некоторое время я видел тебя в профиль, стоящей ближе к входу. В процессе пения и чтения я поминутно обращал взор в твою сторону, глотая живительный бальзам твоего присутствия. Но в какой-то момент ты исчезла; позже, по оброненным в машине фразам, я понял, что ты вышла из храма, утомившись (что немудрено!) и присела где-то отдохнуть, а потом уснула – «под деревом», как я услышал. Служба закончилась, мы с Сергеем, твоим отцом, вышли из храма и спустились с горы к монастырю; было темно; вскоре двинулись в обратный путь. Я хотел попросить сесть рядом с тобой, но не решился. Я сидел впереди, ты сзади, наискосок, и благодаря этому я изредка, хотя было и темно, мог, оглядываясь, видеть тебя. Ты протянула мне пакетик с кизилом, который мы рвали днем. Я помню, что это было очень тепло. Подъехали к твоему дому. Я вышел, взял рюкзак. Ты тепло улыбнулась и... сердце у меня стало превращаться в губку, смоченную уксусом, по мере того как я, поглядев тебе вслед, взвалив рюкзак, стал удаляться от твоего дома. До сих пор я не виделся с тобой, хотя этот чудесный, ни с чем доселе несравнимый день был только позавчера. Завтра он будет – поза-позавчера; и насколько он отдалится, прежде чем я снова увижу тебя? Я звонил вчера дважды, ты не брала трубку, и мне показалось, что в конце первого раза послышался мужской голос. Сегодня я не звонил, я пошел на озеро и проходил дважды мимо твоего дома; идя утром, я видел вашу машину; но, насколько я помнил, ты должна была работать сегодня, я не зашел, хотя мы в тот день обсуждали и возможность сходить на наше гаспринское озеро. Идя обратно, я уже не увидел вашей машины.

Маша, я не могу без тебя. Я никогда не испытывал того, что испытал в тот день; тот, который был «только» позавчера. Внутри произошел какой-то тектонический сдвиг ценностей. Я увидел вечный свет, исходящий от тебя; я увидел то, что буду видеть там, в вечной жизни, уже беспрерывно; а если не буду, то это будет не моя вечная жизнь, это будет чей-то ад, и этот кто-то – не будет мной; но что же я должен сделать, чтобы жуткий лик этого «кого-то» перестал заглядывать в меня из плоскости письменного стола; почему я все время отождествляю себя с ним; каждый раз, когда я делаю шаг в направлении тебя, это сопряжено с такой ужасной духовной борьбой, что я говорю себе: нет, я так не смогу. Но я уже сделал несколько шагов, я уже узнал тебя, и ты... меня... Если бы я мог молить тебя о маленьком шажке в мою сторону, просто – развернутом в мою сторону носке туфли. На невербальном языке это кое-что значит. Но я знаю, что надежды ложны, и мне самому придется делать еще шаг. И это так страшно – как будто все силы ада собираются вытрясти тебе на голову огненные уголья. И этот выкрик ты не прочтешь прежде чем я, может, вручу его тебе. Теперь ты не выходишь в интернет. И мне придется опять идти искать тебя. А ощущение такое, что с каждым днем все позднее. Потом ты поедешь учиться, с 1 сентября, и будешь приезжать, конечно, на выходные, и идти на службу в Ореанду, и я, если удастся купить электровелосипед, смогу тебя подвозить. Я бы катал тебя день и ночь, по всем дорогам этого мира, куда захочешь, я бы выполнил твои желания, самые непонятные, хотя их у тебя не может быть; ты не станешь никогда испытывать для развлечения чью-то любовь, «играть чувствами», хотя и написала один раз в ask-интернет-паблике, что «разбила двоим из них сердца – меня нужно бояться».

Но я знаю, почему ты так написала. Я знаю твою интонацию, твою улыбку, твое отношение ко всем вещам, я изучил все доступные мне источники о тебе тщательнее, чем востоковеды – шумерские библиотеки, а античники – мраморную крошку Акрополя. Я пишу это, роняя «скупые мужские слезы», а если честно – то несколько раз прерывался на подступивший к горлу ком. Потом я наберу этот текст – он довольно большой – но я постараюсь это сделать, чтобы выложить в интернете, в контакте. Хотя я знаю, что такой объем никто не будет читать; но, может, заглянут в середину и прочтут несколько интересующих их вещей. А ты не прочтешь, только, как я уже сказал, если я сам не вручу его тебе. И, видимо, я сделаю это.

Мне просто некуда идти, кроме тебя, я вижу себя в вечности (я уже писал это), я заглядываю за эту грань, и там я вижу только твои глаза – и, как водится, вокруг рыхлое непроницаемое пространство облаков – но я не могу представить себе вечности без твоих глаз, я откажусь от нее, если даже мне ее предложат; я самому Богу скажу это, если Он будет меня уговаривать: смирись, в царствии небесном все будут как ангелы; да, я знаю это, и я знаю, что мне для вечности достаточно не сводить с тебя глаз, или, повернувшись на несколько секунд, как я делал позавчера, удерживая фонтан восторга, снова обернуться и, скрывая этот восторг, опять сказать тебе что-то, опять услышать твой ответ, и идти куда-то с тобой опять, по райскому ли саду или по земным дорогам, которые все равно часть рая, как я убедился позавчера. Я чувствую, что не могу закончить эти записи; наверное, как и райские блаженства, они будут продолжаться в вечности, а если нет – то (опять я уже писал об этом) это будет не моя вечность; но почему-то все сошлось в точке, в которой я нахожусь сейчас, вне времени, и я чувствую некоторое успокоение, мир в душе, какой я чувствовал сегодня днем; в сознании, после треволнений накануне, было очень спокойно и тихо. Наверное, иногда я пишу сумбурно, но я смог сделать слепок и представляю его тебе, а завтра я сделаю еще один слепок, слепок души, и вылью форму по этому слепку, или по сегодняшнему, и буду вкладывать туда раскаленные буквы, или жидкие гипсовые буквы, или жидкую бронзу, и у меня будут получаться в любой день или твоя гипсовая статуэтка, или бронзовый роденовский образ, или боговдохновенные тексты, написанные на скрижалях памяти; каждый раз я буду наполнять эти формы, а когда их грани утратят рельефность, я сделаю новые. И так я проведу все оставшееся мне время, и может быть, не замечу, как перейду в вечность за тем же занятием; это только в том случае, если подаренный мне Богом день с тобой окажется единственным источником памяти; но мне достаточно будет поглядеть на тебя не более двух минут, чтобы новые формы предстали готовыми к наполнению; я буду молить Бога только о двух минутах – эта вспышка озарит новую анфиладу памяти, я пойду по ней, разглядывая огромные залы и снимая с бесчисленных полок книги, в каждой из которых описаны твои движения и черты; скажи, неужели мне не хватит слов, чтобы твой образ, твой образ, который я доставал из киота сердца, из киота сердца, вечно, вечно находился перед глазами?

я шел по райскому саду  
и видел красоты рая,  
не чувствуя жажды иль жады,  
дороги не разбирая

потом испытал погруженье  
в холодные горные воды  
и в сладостном изнеможенье  
вдохнул разнотравье природы

и белый невидимый ангел  
летел параллельно со мною  
а милый задумчивый агнец  
шел вместе дорогой одною

и я в твои ясные очи  
заглядывал, словно в озера  
на дне их – вселенские ночи  
а прочее скрыто от взора

я пил эту ясную влагу  
припавши губами сухими  
моля даровать мне отвагу  
изречь твое милое имя

пропеть его голосом нежным,  
назвать им стоящую рядом,  
среди склонов и рощиц безбрежных  
вдыхая лесную прохладу

нас приняли мятные травы  
в свое ароматное лоно  
друг другу читали мы главы  
сердец, красотой умиленных

кусочки дорожного хлеба,  
запитые взятой водою  
казались мне манною с неба —  
единственной пищей святою

молил я в сердечной истоме  
– дай что-нибудь выстрадать злое  
тогда я останусь на склоне  
на этом – навеки с тобою

но слышу в ответ – только тихо  
кольшутся рощи и травы,  
как будто невидимы лики  
осанну поют или славу

и слышу твой ангельский голос  
и снова очей водоемы —  
как будто в забытую волость  
вернулся к родимому дому

## Глава IX

### Кое-что из жизни зубастых лягушек...

Я вспоминаю еще один невообразимый момент – когда мы вернулись с источника, мы вошли в «главный» дом, где посередине располагался большой общий трапезный стол; то есть, в трапезную; вошли мы туда не просто так, а «по благословению» кого-то – кажется, даже твоей мамы, которая спросила у женщин, хлопчущих на кухне, можно ли нам перекусить после долгой дороги до источника и обратно. И вот мы вдвоем оказались в этой тихой и безлюдной трапезной; вернее, одна женщина стояла перед образом и читала молитву; мы взяли тарелки и положили по две ложки холодной гречневой каши; сели на скамейку, она стояла слишком близко к столу, я попытался ее отодвинуть, но при попытке усесться меня постигла неудача – скамейка стала опрокидываться, ты тоже не смогла на ней удержаться; я передвинул скамейку в прежнее положение, но это было так близко, что ребра мои буквально упирались в край стола. И тем не менее я остался сидеть именно так; мы ели эти две ложки каши, горела лампада перед иконой, женщина читала молитвы, повернувшись к нам спиной, в трапезной царили полумрак и тишина, и снаружи доносились голоса. Потом мы вышли сполоснуть тарелки, на которых остатков каши – прилипших гречинок – было едва ли не больше, чем мы съели. Ты осталась помогать «на кухне», а я именно в тот момент пошел пособить Сергею, твоему отцу; он сколачивал лестницу за достраиваемым зданием. Помню, что я отпилил доску по его указанию; и отметил про себя, что у него хороший глазомер – доска идеально легла на то место, где должна была быть ступенька. Затем мы снимали опалубку. Видимо, эта работа была не впервой, она двигалась неспешно и пошагово; мне, как энтузиасту, сразу было доверено проявить инициативу; я приставил лестницу к стене. Боже мой, я помню все передвижения этой лестницы у меня в руках – то к одному месту стены, то к другому, – так, как будто это случилось только что. Со мной произошел прустовский всплеск «утраченного времени», я как бы вернулся опять в тот день. Я взял гвоздодер и принялся отделять доски одну от другой. Посыпалась известька и крошки засохшего раствора. Опалубка как бы огибала угол дома; когда доски были разделены, та часть, что висела справа, неминуемо рухнула бы вниз, но была удержана приставленной лестницей. Спустившись вниз, я позволил доскам упасть, потом то же проделал и с другой стороны. Нужно было измерить рулеткой длину стены; оказалось три метра восемьдесят сантиметров. Теперь необходимо найти четыре арматурных прута этой длины. Один лежал в траве. Я поднял его и прислонил к стене. Поскольку никто не торопил, а больше прутьев в обозримом пространстве не наблюдалось, я переключил внимание на плодовое дерево примерно в той области, где был найден первый прут. Слива или алыча; но плоды большие и причудливой формы. Она была мягкой и спелой, однако те ягоды, что валялись вокруг дерева, не годились. Я нашел потрепанное ведро и, залезши на дерево, набрал почти полное. Помыв сливы, я поставил их на кухне для общего пользования и – сделал то, что намеревался и для чего вообще взбирался в брюках и сандалиях на колючее и неудобное дерево – принес тебе «начатки плодов». Весь этот период времени – с момента нашего прихода и до общей трапезы где-то часов в пять, я, даже взясь с элементами строительства, ни на секунду не упустил из виду твоего присутствия. Даже когда я тебя не видел, я примерно предполагал, где ты находишься. И вот – я вспоминаю – ты стояла и читала молитвы перед иконой, и у меня в руках были эти несколько вымытых слив; ты дочитываешь и закрываешь молитвослов и поворачиваешься ко мне, и я протягиваю тебе эти сливы. Потом, в какой-то момент, ты пошла «погулять»; ты пересекла маленький пятачок, где разворачивались машины, и пошла вверх, к церкви, туда, куда мы утром шли на источник. Потом ты вернулась, но очень скоро ушла опять – теперь в другом направлении. Через некоторый период, решив, что времени прошло достаточно, чтобы «про-

явить беспокойство», я, поскольку не был так уж необходимо занят, пошел тебя искать. Выйдя на дорогу – грунтовку с глубокими рытвинами, дорогу, по которой мы приехали сюда, которая огибала монастырь и соединяла его с внешним миром, я поднялся вверх до «официального» входа в обитель – ворот и ограды у церкви, уже почти достроенной. Тут я будто вернулся – после монастырской – к мирской жизни; я оказался на развилке дорог; у ограды стояли два велосипеда; люди, приехавшие на них, просто путешествовали и знакомились с достопримечательностями. Они сидели под деревом, их голоса звучали буднично и приятно в этом жарком воздухе. Увидев, что тебя нигде нет, я повернул обратно. И, спускаясь по той же дороге, различил вдали фигуру. Не совсем веря еще, стал приближаться, и где-то метров за сто уже наверняка понял – ты! Ты шла навстречу, и, я помню, не смотрела в мою сторону; мне показалось, что ты приняла меня за прохожего; однако, когда я уже приблизился к тебе, ты никак не выказала внезапного удивления, из чего я заключаю, что тебе было почти все равно, кто куда на поиски кого и зачем отправился. Ты, кажется, вынимала колючки из одежды; видимо, попытавшись пробраться сквозь густые заросли. Я вспомнил подобный случай из своей краеведческой практики, когда заросли оказывались гуще, чем представлялось вначале. Мы посмеялись. А еще – смешно было, когда шли обратно с источника, и я обнаружил желание искупаться в озере, кстати, единственном, что в тот день попало в кадр моего телефона. Ты сказала, что я могу (было еще довольно рано) пойти сюда искупаться, когда пожелаю. Будто я взял и пошел без тебя. И ты так благочестиво предупредила меня (естественно, под влиянием только что испытанного святого омовения в источнике) – ты предупредила, что в озере, возможно, вода не такая чистая, и даже – о ужас! – здесь могут водиться лягушки. На что ничего другого не оставалось сказать, что, конечно, лягушки – это ужасно, и недопустимо после святых вод, – но, пожалуй, все-таки искупаться возможно, если это не лягушки-пираньи, которые в две минуты оставляют от живого человека скелет. Конечно, очень возможен был вариант, что транспортный самолет из Бразилии, который часто летает в воздушном пространстве Бахчисарайского района, снизился в один из недавних дней над этим озером и сбросил туда партию зубастых лягушек. Но, при всей большой вероятности такого оборота событий, существовало и альтернативное предположение – что никаких лягушек не завозилось!

## Глава X

Несколько раз я уже виделся с тобой. Вчера (Боже, это было только вчера, неужели?! Кажется, вечность уже прошла. Написав это, вернее, не дописав еще, я осознал чудовищную банальность данной мысли) – вчера была пятница, и Успение?! Да, как раз во время службы утром мне пришла в голову спасительная мысль – я зайду поздравить тебя с праздником. До этого, в течение недели пытаюсь с тобой встретиться, я не мог найти достаточно веского повода. Но в праздник открыты все двери. Все равно мне было бы боязно. Хотя теперь уже не так страшно, как раньше. Нет, страшно все равно. Приехав домой после службы, я даже порадовался тому, что у меня совсем мало времени; цейтнот ускоряет действия человека, заставляет его мыслить быстро, цельными и сжатыми блоками и схемами. Мысленно я уже ехал на службу к двум часам. Приехав домой, я сел за ноутбук и распечатал тексты, которые накануне еще проиллюстрировал твоими фотографиями. И правильно сделал. Тексты – это было нечто, к чему ты проявила настоящее внимание. Я подъехал к твоему дому, бросил велосипед у ограды и стремительно, мимо молодого человека с рюкзаком, на скамейке, которого я автоматически записал в твои поклонники, дожидаясь именно тебя, поднялся по ступенькам к твоей двери на первом этаже. Хорошо, что этаж – первый, иначе каждый лестничный пролет этажом выше превращался бы в очередной круг чистилища. Я постучался, и внутри что-то послышалось. Через некоторое время я стал склоняться к тому, что это мне действительно послышалось. Машина рядом, но, может, вы в праздник решили навестить соседей. Я постучал еще раз – четыре удара, помню, в стуче проскользнула некоторая настойчивость. И, может, ты откликнулась именно на эту настойчивость. Ты открыла дверь. Я, ожидавший увидеть любого из вашей семьи, сразу добился цели – я увидел тебя. Но, конечно, я не подал виду – выглядел я, наверное, торопливо; я поздравил тебя с праздником, ты сказала, что все спят; незадолго до этого я съехал на велосипеде в Нижнюю Ореанду, где ты поешь у о. Николая Доненко. Действие это было совершенно спонтанным и, возможно, это было одно из наилучших решений. Я просто выехал за ворота Свитского корпуса в Ливадии и покатил к Ореанде. Приехав, я обнаружил традиционное, за большими столами на церковном дворе застолье, фотографии которого в другие праздники, сделанные Володей Евдокимовым, я тысячу раз видел в фэйсбуке. Я вошел в храм, поклонился перед плащаницей, но сделал это еще и потому, что подойти сразу к столам с таким множеством народа было нелегко. Потом я увидел нескольких человек вокруг о. Николая Доненко и направился к нему. Я взял благословение, мы поздоровались. Я поздравил его с праздником и спросил, нет ли кого из хора. Он указал мне и предложил сесть за стол. Я отказался; наверное, вид у меня был довольно взволнованный; мне показалось, что это заметили. Потом я подошел к Ане, регенту в Ореанде. Правда, сначала я спросил, есть ли Юра Остапчук, который также поет здесь; Юру я давно знаю еще по педагогическому нашему институту. Юра, возможно, и был – стояла его бежевая «Нива». У Ани я спросил про тебя. Я спросил, была ли Маша N. И, веришь ли, очень удивился, когда сказали, что – да. Они уже уехали. Я спросил – с семьей? – Да. – Почему я удивился... После недели «поисков» я впал в состояние, когда все происшедшие со мной события стали казаться чем-то ненастоящим, призрачным, как сновидение. Мне стало казаться одновременно, что это все было со мной очень давно; и когда я узнал, что ты и твоя семья были здесь, фактически, не больше часа назад (то есть, в то время, когда я в Ливадии, тоже ел и пил на поспразднственной трапезе), мне показалось, что вы будто материализовались, выплыли из воздуха, как булгаковские персонажи. Спросив о тебе и получив ответ, я сразу уехал. Не знаю, был ли мой вопрос о тебе каким-то образом истолкован; но мое появление там было точно неожиданным, так же как и мои вопросы. Впрочем, кому в конечном счете интересны дела сердечные, кроме тех, кого это касается напрямую.

Я выехал из Ореанды и долго поднимался на велосипеде в гору; я подсчитал оставшееся время – выходило совсем немного; после того как я приеду домой, у меня будет всего несколько минут. На самом деле, как оказалось, и этих нескольких минут было слишком. Наше «общение» с тобой длилось, по-моему, не больше минуты. Я хотел вручить тебе коробку с конфетами, которые купил еще в воскресенье, ты стала отказываться, и я изобразил такое страдание и горечь, что ты передумала. Коробка перешла из рук в руки. А вот тексты ты взяла сразу и с интересом. Кто-то был с тобой рядом из детей. Этот ребенок был довольно заинтересован тем, что происходит – все, что я успел заметить. Весь разговор происходил полупрошепотом. – «Все спят» – было в ответ на мое поздравление и желание видеть «папу и маму». В этот же момент я сопоставил длинную праздничную службу, многочасовое стояние, трапезу и жаркий день; и разморенный бег «жигулей» по склонам Крымских гор. Я попрощался с тобой и с легким сердцем двинулся к велосипеду. Парня на скамейке уже не было. Мне показалось, что он ушел с кем-то – с другом, так что из категории твоих поклонников он автоматически выпал. Я сел на велосипед и покатил по горке мимо детской площадки. Потом повернул, намереваясь выехать на Севастопольское шоссе и направиться уже на службу. Как вдруг раздался хрустальный звон, будто джинн выдернул волосинку из своей бороды и исполнил мое заветное желание. Это пришло сообщение от тебя с поздравлением. Тут я остановился и почти дал волю слезам. И написал в ответ сообщение, где позволил себе назвать тебя неким ласковым словом, при этом попросив заранее прощения. Еще я написал, как мне стало легко на душе после этого блиц-свидания. В ответ ты попросила не называть тебя так, как я назвал. Это сообщение я получил уже чуть дальше, у «Розы Люксембург», кажется. Я остановился и «прислонился к стене», образно говоря. Что-то кольнуло, и в это образовавшееся отверстие вышли все пузырьки счастья. Я медленно обдумал твои слова. «Почему с большой буквы это слово...?» – вертелось у меня в голове....

...Подъезжая к больничному храму, я уже давным-давно собрал все вылетевшие было разноцветные шарики блаженства. В какой-то момент, я не помню – на службе или между ними – пришло большое сообщение от тебя. (... ..)

Здесь я сделаю небольшое отступление. Незаметно вчерашний день в восприятии совместился с сегодняшним. Сегодня я, доехав до Гаспры на велосипеде (после субботней службы), спустился в Кореиз, чтобы снять деньги с карточки. Стал подниматься обратно. На повороте за остановкой «Ясная поляна» у меня мелькнула мысль подняться по ступенькам с велосипедом, но потом я проехал мимо, решив преодолеть «верхом» этот участок дороги. И в этот момент я услышал оклик: «Илья!» Это была ты, ты спускалась по той самой лестнице, по которой я хотел подняться, ты была с кем-то – вначале показалось, что с мамой, и приветствие выкатилось на уста; но это была, наверное, твоя сестра; она мельком взглянула в мою сторону, мне показалось – остро и не без подозрительности. Я повернулся в твою сторону – я был с велосипедом на другой стороне дороги; я как бы взглядом восторженно-умоляюще спросил тебя – можно ли подойти? И ты разрешила. Я не подошел – меня выбросила перед тобой на берег волна восторга. Я спросил, как тебе мои вещи? «Неожиданно», – сказала ты, имея в виду прозаические куски. Это было сказано не без некоторой дрожи в голосе, и я понял, что то, что мне казалось сырым (и таковым являлось), и то, что я спешно редактировал и прореживал перед тем как распечатать и отдать тебе – это достигло твоего внутреннего слуха. Про стихотворения ты сказала, что «образно». Больше ни о чем мы не говорили; ах, да, я еще раз извинился за «солнышко» и просил передать родителям поздравление; ты его и так уже передала вчера. Мы простились (наверное, ты шла на море с сестрой), и я на этой же волне восторга въехал в магазин, купил кофе и хотел чего-нибудь пожелать хорошему продавщице; но не нашел слов. На гребне этой волны я пребывал часа полтора – потом пришло большое сообщение от тебя. Начало я перескажу, а дальше – по этическим соображениям... тоже перескажу, близко к тексту. А вообще – это очень лестный для меня отзыв, и я даже укре-

пил бы его, как диплом, в рамке на стене. Ты написала, что «уже год встречаешься с одним человеком, и мы друг друга любим». Ты благодарила за «проникнутые светом стихи и прозу». И как бы советовала переориентировать этот мой «талант» на что-то более «полезное, плодотворное» – например, исторический роман или книгу; ты, наверное, не знаешь, что «всякое искусство совершенно бесполезно» – изречение Уайльда. Горькое и единственное, что стоит знать об искусстве. Но текст твоего сообщения очень широк и полон... да, он полон этого самого чувства – любви; я даже удивился сейчас, когда, придумывая, как бы повернуть к первому продолжению, вдруг обнаружил, что ты пишешь с любовью. Наша ошибка в том, что мы конкретизируем любовь и отсылаем ее к определенному персонажу. Чтобы снизить высокий ее дух. Но любовь появляется и исчезает в наших словах и действиях. Поймать ее «за хвост» и оставить в каком-то определенном месте – совершенно невозможно, «дышит где хочет». Ты пишешь с любовью, потому что в твоём ответе с максимальной полнотой выражено участие. Ты отделяешь от себя максимум того, что можешь дать; и получается даже больше того, что мне нужно... а я и не знаю, что мне нужно, кроме совершенно патологического желания видеть тебя хотя бы изредка. Ты говоришь, что ничем не сможешь ответить... но ты уже ответила; и этот ответ оказывает такое странное влияние, что я, как ни пытаюсь, не могу сейчас закрыться на ключ прежнего спокойствия; не могу уйти в затвор прежнего разрыва с миром, а, по ощущениям, встречаю какую-то боль и неприятие открыто, хотя с самого утра при таком обороте событий начинаешь испытывать «тяжесть бытия». Ты называешь мое проявленное внимание к тебе «прекрасным чувством», и я чувствую, что – да, оно прекрасно – я это говорю не в похвалу себе, а констатируя природу того источника, откуда на меня исходит этот свет. Ведь я «не от себя» пришел к тебе. Это чувство вело меня, а откуда оно берется, я предпочитаю не думать. Ты говоришь о «таланте, который можно пустить в более плодотворное русло» – но где оно, это русло, кроме того, в какое я его пускаю сейчас; и откуда может взяться ббльшая, чем сейчас, плодотворность – если все, что я каким-то образом выливаю в тексты и мысли, все направлено в одну сторону и подчинено одному гигантскому... замыслу, что ли. Да, у меня есть ощущение, что замысел этот безнадежен... в таком случае, смысл его – в безнадежности, как смысл любви – в безысходности, в невозможности соединиться; смысл – в трагическом «неслиянии» двух чем-то родственных сущностей. Тогда «любовь» продолжается бесконечно, в чем, собственно, и цель бытия. Вообще, анализируя твое сообщение, можно написать отдельный очерк; сейчас я редактирую этот текст потому еще, что меня попрекнули тем, что я вставляю целиком «личные» сообщения. Если ты дочитала до этого места, я объясню, почему я так делаю. Это не душевный эксгибиционизм (значение этого слова неважно сейчас), это требование художественной «правды», так, как я ее понимаю, потому что не претендую на абсолютную верность знания этого, но что-то, властное, как форма, диктующая стихотворение, подсказывает, как нужно сделать. Целиком вставить личное сообщение – это не обнажить то, что не предназначено для других. Это передать всю полноту переживаний, сообщить ее художественному, подчеркиваю, тексту, каковым является все, что здесь есть. Одна из странностей подлинно творческого чего-то – процесса, импульса – в том, что невозможно предугадать средства и способы, и положения во времени и пространстве того, что ищет выход. Я вознамерился «смягчить» данный текст – тем, что выбросил из него твое сообщение «слово в слово», – и чувствую, что, истолковывая твое сообщение, опять напал на какую-то «жилу» мыслей, переживаний, которым нет конца. Нет конца – потому что твой ответ настолько «космичен», что мне будет этого достаточно, чтобы существовать в новых границах. Ты не «отказала» мне в чем-то – ты включила меня в свою орбиту. И я надеюсь, ты не «обидишься» на меня в житейском смысле, на то, что я использую «цитаты из личного»; единственное назначение интернета – строить или достраивать некий психологический мост между людьми, добавлять к четкому контуру реальности пласт воображения, которое, может, и является по-настоящему ценным человеческим свойством.

Это сообщение, я повторяю, можно повесить в рамке на стену, как почётную грамоту. С примерно таким сопровождением: Награждается студент II-го курса Института Чувственности – И.В. за активное участие в практической деятельности и проделанную теоретическую работу». Больше, конечно, за теоретическую. Может быть, горькая ирония начинает окрашивать мой текст в черный цвет, хотя я и так пишу гелевой черной ручкой. Я тут же написал тебе довольно большой ответ, но твой телефон не «проглотил» его, а по частям – я начал скидывать, но не закончил. Приведу этот ответ здесь: «Маша, мне достаточно того, что ты есть на свете. Вот честное слово. Хотя видеть тебя чаще было бы огромным счастьем, но я с самого начала и не рассчитывал на «успех», что ли. И одновременно с этим надеялся. И не сам человек выбирает, что ему писать – роман или стихи – но, скорее, творческий импульс выбирает человека и ведет его. Мне немного (довольно-таки; весьма; невероятно; в высшей степени) больно было прочесть то, что ты написала, но... здесь я должен написать, что хочу, чтобы ты была счастлива. И я задумался, не слишком ли я не считаюсь с реальным положением вещей. Прихожу без спроса, рассказываю о «чувстве». Но – прости, я тебе признаюсь – мне страшно было все это делать, я делал это, когда другого ничего не оставалось. Я как бы спрашивал у обстоятельств – могу ли я поступить иначе. И ответом мне было – действуй. Мне бы очень хотелось с тобой поговорить, потому что очень много внутри есть к тебе желающего быть высказанным. Но мне достаточно того, что ты есть, и есть эти сообщения от тебя, и сегодняшняя встреча. И день в монастыре».

паломничество к дому твоему  
ногами деревянными... в четыре  
на первом этаже, в твоей квартире  
трель жалюзи скрывает окон тьму

четыре ночи... двор соседний спит,  
колеса спят, ограды и бордюры  
сквозь облаков причудливых фигуры  
по небу проплывает лунный кит

а лунный кот, топорща дыбом шерсть  
дорогу мне к дверям перебегает...  
но, суеверьями пренебрегая,  
стою, светлеет небо, скоро шесть...

стремлюсь я мыслью, сердцем и душой  
туда, за жалюзи, за все препоны  
мы все проникнуть за ограду склонны  
запретных рощ, нам скучен путь домой

и ожиданью что-то помогло —  
умывшись непроглоченной слезою,  
я прикоснулся трепетной рукою  
как бы к тебе, – погладивши стекло...

## Глава XI

### Где-то в августе... (до поездки)

Перебирая занятия, которыми можно заполнить остаток дня, я отследил очень простую мысль – даже занявшись чем-нибудь другим, я буду нетерпеливо стремиться к тому моменту, когда можно будет «поговорить» с тобой, то есть, написать тебе – наверное, это все-таки письмо – и попробовать развеять эту боль – боль, которая, конечно, не так выматывает, как зубная; но, с другой стороны, поскольку это психическая, душевная боль – она в большей степени поддается осмыслению, чем боль физическая; и в этом осмыслении проскальзывают элементы такой тоски, такого беспросветного отсутствия надежды, что чуть ли не восклицаешь – зачем мне все это? а потом думаешь – ну, сам же ввязался, и на этом фоне – не надо, не надо было ввязываться, разве тебе плохо жилось – и т. д.

Я шел сейчас темными улочками Гаспры, в одном из дворов играли дети; они кричали, шумели, ссорились – видимо, игра была всерьез; и я вдруг представил, что ты находишься среди этих детей, что эти играющие дети – твоё собственное детство, которое, сквозь призму моего восприятия, случилось совсем недавно – каких-нибудь десять лет назад. Мы тогда только переехали в Гаспру. Эти играющие дети осветили мне Гаспру, как некий кинофильм; появилось ощущение сюжета, то есть, две таких исторических точки – детство и твое нынешнее состояние – дали прямую линию, идущую из глубин памяти. Идя дальше, я много чего себе представлял – я представлял твой дом и подходы к нему; хотя я и не знаю, на какой улице в каком районе ты живешь; так, имею общее понятие. Я представлял себе якобы грядущие встречи, разговоры, встречи с... теми, кто составляет круг прописанных в одном ареале; во всем этом меня удивляла и продолжает удивлять некая неподвижность моей собственной планеты. Я легко представляю себе твое детство, взросление и постепенное и естественное вхождение в так называемую «взрослую» жизнь. Я представляю себе непосредственность и контакт, с какими ты воспринимала и воспринимаешь события жизни, так называемые «знаковые» события, «поворотный» (момент) – поступление, приезд на каникулы, или даже экскурсия в мастерскую резьбы по дереву и общение с замечательным, тонким, умным мастером-резчиком. А потом вглядываюсь в себя и понимаю, что выпадаю. Я выпадаю из этой мозаики, как плохо приклеенная керамическая плитка – рраз – и я упал, и разбился на кусочки. Вечер сегодня, как и все другие в течение месяца, жаркий. Возвращаясь обратно из Кореиза, я свернул на дорогу, которая, как мне кажется, близко проходит к месту твоего обитания. На огради- тельной стене я увидел разлегшегося кота. Он не стал убегать, я погладил его, затем отхватил зубами кусок купленной колбасы и угостил зверя. Прошла мимо девушка. Естественно, мне показалось, что это ты. Сразу же, глядя ей вслед, я определил приметы, которые исключали тебя в этом облике. Но все равно мне не по себе. Мне все время кажется, что, увидев тебя, я тебя не узнаю. Вернее, первоначальный страх – вовсе не заметить тебя, так как ты скользишь стремительно, и теперь, наверное, заметив меня, постараться как можно скорее скрыться с глаз. А не узнать тебя боюсь я, так как, обращаясь каждый вечер к источнику своей тоски и изливая на бумагу опыт сознания, я придумываю и дополняю какой-то образ – но он, может, все менее становится на тебя похож; он списан с тебя, но, так как образы имеют свойство жить своей жизнью, то, возможно, при таком обороте событий через какое-то время появится фигура, напоминающая тебя лишь внешними психологическими чертами. Вот почему я боюсь не узнать тебя. Несмотря на это, я все время представляю встречу. И заранее готовлюсь к худшему. Ты быстро произнесешь приветствие и пройдешь мимо, и будешь стремительно удаляться. Но иногда я, разнежившись, вдруг представляю, что в глазах твоих зажегся интерес ко мне. Ты остановилась и слушаешь меня. Странно, что подобные вещи, которые я недавно еще

воспринимал совершенно спокойно, теперь стали для меня горсткой сакральных воспоминаний. Почему у нас – мне недавно пришла в голову эта мысль, я ее вспомнил и подумал, что она может быть уместна сейчас – любовь считается болезнью того, кто любит, и некоей данью, которую любящий должен выплачивать (и выплакивать) объекту любви. Наблюдатели, представляя себе любовь, обычно считают, что человек впал в зависимость от другого, и поэтому он подлежит осуждению. Все равно как если бы он пристрастился к казино или алкоголю. И довод – мой собственный довод, что любовь – это прежде всего дар тому, кто любит, это необычайное расширение сознания, вбирание, впитывание в себя с новой силой потускневших красок жизни – кажется мне самому, на фоне моей зависимости, моего стремления увидеть человека хотя бы мельком – кажется неубедительным и шатким. Что, однако, подтверждает ранее мною «открытую» горькую истину – любовь неудобна, нежелательна и курьезна в этом мире; она не вписывается ни в какие рамки, она безнадежна – и именно поэтому, пробуя ее на зуб, понимаешь, что золото настоящее. Хотел написать вначале – серебро, но потом подумал, что такая субстанция заслуживает называться именем самого ценного металла.

## Глава XII

Я часто представляю себе моменты, когда (если) вновь увижу тебя. Может, это произойдет через месяц, может... и здесь я сделал паузу, чтобы собраться с мыслями, так как напрашивается продолжение – «никогда». С точки зрения обыденности это маловероятно – мы где-нибудь да пересечемся, вопрос только – когда (через сколько световых лет) и в каком качестве. Я все время вспоминаю фильм Кислевского из цикла «Декалог», новелла шестая. Жуткая, обрубающая все нити фраза, которую произносит герой в конце фильма – «я за вами больше не подглядываю». Любовь началась – с подглядывания в окно соседнего дома. Закончилась циничным срыванием покровов с ее обнаженного, беззащитного тела. Тела «любви», не главной героини. И я боюсь – на самом деле – за тебя: ты вдруг услышишь – «я за вами больше не подглядываю»; «я вас [больше] не люблю». Мне страшно, потому что я представляю – услышать женщине такие слова – все равно что рухнуть в пропасть. И падение это не заканчивается. Или, может, я сгущаю краски... Но речь идет не о том, прекратится ли чувство к тебе; речь о расположении; и ты, выказав мне свое расположение, обнаружила не меньшее чувство. Есть в тебе странная цельность, которая, кажется, у других отсутствует. Поэтому совершенно не привлекают многие и многие – вроде бравирующие этими пресловутыми козырями – молодостью и красотой, но представляющие собой некий продукт саморекламы; они настойчиво предлагают себя и тем менее вызывают желание приблизиться. Твоя цельность – это нечто умопомрачительное, в прямом почти смысле; я, думая о тебе, так или иначе возвращаясь к тебе, как в домашнюю гавань после долгих путешествий, не могу описать некоторые моменты этой работы сознания кроме как словом «затемнение». Как будто слишком яркое солнце ослепило на мгновение, и глаза, испытав ожог, постепенно возвращаются в привычный режим, находясь, однако, теперь полностью во власти этой вспышки. Я пытаюсь найти / вернуться к источникам, откуда я бы мог получить утешение; я заглядываю в книги, на страницы, где чувствуешь себя «как дома», пересматриваю отдельные кадры некоторых фильмов, разглядываю картины или декорации компьютерных квестов; я ищу, где бы мне напиться, как в тот день на источнике; но напиться не откуда – главный источник – ты; а тебя нет; это как нет дождя – и земля высыхает и чернеет; а засуха – она страшна прежде всего своей неопределенностью; ты не знаешь, сколько она продлится; ты пытаешься вспомнить пророчество – на сколько там заключил небеса жестокий Илия-пророк – на три? на семь лет? Семь лет в Египте во времена Иосифа был страшный неурожай. Но это было предсказано заранее. И я думаю, что жители, зная, сколько им еще терпеть, находились в более удачном положении; и к концу шестого, а затем и седьмого года они, представляю я, уже всюю праздновали канун окончания этого срока. Мне остается праздновать только предполагаемые даты. Возможно, это будет день престольного праздника в нашей церкви; и я, понимая, что общение сведется к небольшому периоду, я все равно понимаю – этого будет достаточно, чтобы воскреснуть. А сейчас я чувствую, будто все внутри как почернело, иссохло, и душевные силы напряжены – только бы вытерпеть, выстоять эту неопределенность срока. Может быть, тебе представляется странной такая реакция; хотя, поскольку ты все-все понимаешь, ты интуитивно распознаешь и суть происходящего. Но что ты можешь сказать или сделать, кроме участливого: «Я ничем не могу вам ответить»... Я стал это все описывать и вдруг снова почувствовал себя неким просящим «свежей крови» вампиром; будто я изливаю тебе на голову переживания, которые следовало бы удерживать в себе. Странно – раньше, в момент, когда я только-только стал представлять себе возможность встречи с тобой – и «объяснения», я будто напал на некую жилу бесчисленных ассоциаций. Картины сменялись картинками, и весь этот калейдоскоп бушевал вокруг тебя; впечатления памяти будто бы выскальзывали и сыпались разноцветным бисером. Теперь же, узнав, что такое на самом деле общение с тобой, я обнаружил свои желания «обедневшими»; мне

только того и надо, чтобы просто смотреть на тебя с расстояния в метр-полтора. Просто все другое – несопоставимо. Я могу придумать прибрежный пейзаж, пустынный песчаный пляж, лодку, выброшенную на берег, тебя, изнемогающую от жажды, потерпевшую кораблекрушение. Ты лежишь в отдалении от лодки, волосы спутаны и в них – водоросли; ты чудом спаслась... На берег выходят люди, они переговариваются; они замечают лодку, а затем тебя. Это юноша и девушка, по виду – брат и сестра; им по двадцать-двадцать два года. Они с громкими восклицаниями приближаются к тебе; одежды их – из хорошей ткани, у юноши на поясе – кинжал в инкрустированных золотом ножнах. Очевидно, это не простые рыбаки; это дети графа N., проводящие каникулы в прибрежном замке своего отца, провинции... тоже N. Я сейчас затрудняюсь представить, в какой конкретно области расположить географию сего приключения; это, конечно, Средиземноморье, но какой регион – затрудняюсь... может, Адриатика – Италия или противоположный берег – бывшая Далмация, Дубровник, и чуть севернее – Пиран, где теперь территория Словении, и где мой брат сейчас катает туристов на сегвеях и велосипедах по солнечной и уютной стране. Я останавливаюсь еще и потому, что слишком явно чувствую влияние байроновского «Дон-Жуана»; там героя выбросило на греческие Киклады. Но я могу продолжить – мне же «нравится писать»?!. Дети графа N., Регина и Ансельмо, о чем-то оживленно спорят друг с другом, стоя рядом с неподвижным твоим телом, распростертым на песке. Потом Ансельмо переворачивает тебя на спину. Твое лицо мертвенно-бледно, оно испачкано песком и грязью, глаза закрыты... Ансельмо начинает приводить тебя в чувство; он скрещивает твои руки и начинает рывками давить тебе на грудь; девушка стоит рядом и, кажется, советует, чтобы брат ее делал движения энергичнее; Ансельмо со всей решительностью в девятый или десятый раз прилагает усилие, и внезапно проглоченная вода выплескивается из легких, ты с натугой кашляешь и приходишь в чувство. Спазмы продолжают некоторое время; ты, согнувшись в три погибели и перевернувшись на живот, выплевываешь воду; Ансельмо и его сестра поддерживают тебя... вообще-то описываемые события маловероятны, поскольку, если уж человек утонул и его тело выбросило на берег, то никакими подобными мерами его воскресить не удастся (вспомним бедного Шелли); а если потерпевший просто хлебнул воды и доплыл до берега, и в изнеможении лег на песок, то он уже должен был прийти в себя, самостоятельно; ну да ладно... Итак, ты, отплеываясь, возвращаешься к жизни; на тебе – зеленое бархатное платье, потяжелевшее от морской воды; несмотря на перенесенные бедствия, заметно, что ты одета богато, и Регина с Ансельмо начинают гадать о твоей судьбе. К поясу у тебя приторочена маленькая сумочка из выделанной кожи игуаны; Регина, открывши сумочку, находит там несколько слипшихся листков письма и изящный медальон, на верхней половине которого золотом выгравирована буква R в обрамлении вензелей. Ты приходишь в себя и, все еще дрожа от спазмов, садишься на песок, не в силах подняться на ноги...

какая в небе вечером луна?  
такая же, как ты – неразличима  
за облаком? за темным слоем грима,  
иль вовсе в фазе нулевой она...

о чем деревья на ветру шумят?  
о том ли, что в раскидистые кроны  
ты обратила взгляд свой благосклонный  
лет больше трех иль четырех назад?

о чем грустит кошачье существо,  
прохожих провожая вереницы?  
о том, что легкая твоя десница

давным-давно не гладила его...

какою грустью тешат фонари  
свое мерцанье тусклое во мраке?  
они скорбят, что буквенные знаки  
под ними не читаешь до зари...

а в чем печаль распахнутых дверей  
подъездов, магазинов, консумерий?  
они все ждут, пространство скрипом меря,  
чтоб ты в проемы их вошла скорей

и чем, уж если что, омрачена  
душа-ладья на глади монитора?  
что в паруса отплытья-разговора  
не ловит ветер слов твоих она...

## Глава XIII

Вчера вечером я писал о тебе что-то, пока сон не стал одолевать меня; процесс состоит из воспоминаний, которые, как лианы, цепляются за ветви того ствола, которой своей массивной толщиной уходит в божественную пышную крону – день или дни, когда я виделся с тобой, тот день, который мы практически провели вместе. Возможно и, скорее всего, недоумение будет посещать тебя всякий раз, если ты вообще возьмешься за чтение этих бесконечных излияний – недоумение от того, что я так возвеличиваю общение с тобой; хотя, я думаю, тебе это понятно; может, после чтения моего непосредственного, написанного через день, воспоминания о монастыре; однако твои личные устремления далеки от моего существования – «холодно, холодно» – хочется вскричать, как в прятках, когда тебя ищут; но ищут вовсе не тебя, ищут вон того паренька, который спрятался за деревом в дальнем конце двора, а ты стоишь, укрылся за вот этой вот грудой досок и думаешь – сейчас она пойдет искать... Но так и остался стоять за досками, спрятавшись, скорее, от себя самого и от своего воображения; а немного спустя побрел из двора восвояси... Я не дописал вчера то, что собирался, хотя у меня было о чём писать; я очень утомился и бросился на кровать; однако захватил с собой ноутбук и еще несколько минут что-то смотрел тяжелыми глазами. Я не стал сейчас продолжать то, что писал; предубеждение против смены обстановки, которая в данный момент другая – я на работе; вообще с моментом продолжения пишущего дело обстоит странно – казалось бы, можно продолжать начатое, но не хочется этого делать... Мое представление о том, что я пишу, я уже описывал – это слепок, слепок с действительности, с ее течения, ты как будто прикладываешь к барельефу памяти, огромному, длинному, разветвляющемуся барельефу памяти – прикладываешь что-то податливое, как пластилин; и то, что отпечаталось на этом рулоне пластилина – и есть текст; если задать мне самый простой и логичный, здравый вопрос – зачем я это делаю; и разветвить его так же логично – зачем я это делаю после того как ты «как бы отказала» мне в общении (хотя, я уже об этом писал, это нельзя назвать отказом; потому что, как ты помнишь, я не высказал ни одного желания, свойственного стремлению нормального человека продолжать общение с предметом своего восхищения; хотя у меня мелькнула такая мысль – еще в монастыре: сказать старцу – «благословите жениться на...», но, в то же время, после «второго захода» к нему, кажется, ты спросила меня о чем-то, имевшем отношение к нашему разговору с ним, и я, отвечая тебе, так беззаботно сказал: «я не хочу жениться»; а может, для тебя это было как раз важно... но мне показалось, что после этого ответа ты как бы убедилась в некоторой «возвышенности» моих чувств, и, может быть, именно это тебя и не устроило...) Но мне хотелось бы все время находиться там, где ты; однако я еще знаю, что длительный опыт совместного проживания оборачивается развоплощением тайны и притяжения.

Я хотел продолжить о том, что для меня эти записи: способ «не заблудиться» в пространстве. Посмотри, как устроена наша жизнь, наше изо дня в день бытие; единственным моментом сходства между вчера и сегодня является то, что день начинается с рассвета, с подъема, с перебирания каких-то грядущих действий; мы кого-то встречаем на пути, выполняем то, к чему обязывает долг, и предаемся в часы досуга неким привлекательным действиям и развлечениям. Но, может быть, у нас есть какая-нибудь цель; большая или маленькая, возвышенная или такая, о которой удобно говорить – например, приобрести автомобиль; и каждый понимающе кивнет головой. Или эта цель далеко впереди, она висит, как солнце над горизонтом, никогда не приближаясь, но именно потому что она такая недосыгаемая, мы к ней стремимся. Но наши действия безличны. Ты взмахиваешь рукой, проводя по волосам, и этот твой жест пропадает. Ты можешь провести еще раз, можешь заплести волосы в косу или разделить на две косички и завязать бантиками. Проходит некоторое время – тебя видят с некоей потребовавшей внимания и усилий прической – твоими стараниями восхищаются, говорят какие-то слова – и слова

эти остаются в памяти; на завтра прическа исчезает – ты переключаешься на что-то новое; скажем, ты разучиваешь сложное фортепианное произведение, какой-нибудь шопеновский ноктюрн; ты читаешь по нотам аккорды, потом пытаешься понять эти звуки и как-то сынтерпретировать их, понять, что он в них вложил; а он, наверное, ничего не вкладывал, он был так внутренне устроен, что преподаватель его восклицал: «еще, еще...», когда Шопен начинал импровизировать. Вернемся к записям. Попытка занесения на бумагу наших переживаний – в сущности, гигантского масштаба замысел о бессмертии. Вот как ты представляешь себе бессмертие? Правильно, бесконечная жизнь, свободная прежде всего от мысли о том, что она конечна...

Утро приносит что-то. Вчера был сильный дождь; когда выглядываешь вечером из окна в дождь, видишь эти потоки воды, покрывающие мало того что поверхность земли, так еще и вертикальные плоскости и само пространство, где видны эти мощные струи, несущиеся к земле вниз; когда наблюдаешь за этой картиной, представляется, что, по крайней мере, мир уже не будет прежним. И я вчера вечером, глядя на дождь в окно, думал, что все изменится; и больше всего мне бы хотелось, чтобы ты... И опять я задумался: кто ты? кто ты для меня? как будто все вошло в «прежнее» русло (а каким оно было?) но мысли мои обращаются к тебе; вот сегодня я, если утром будет служба, после нее пойду в лес; навещу место, где посадил кизил из косточек тех ягод, что мы рвали в монастыре. Потом пойду на озеро, прочитаю акафист. И, наверное, каждый последующий раз, как я буду проделывать эти действия, наполнение их будет тускнеть; память станет удаляться от событий; и мне снова станет все равно; мне станет все-все равно; я, может, погружусь в какую-нибудь виртуальную иллюзию и влезу туда, как в кроличью нору; и полечу вверх тормашками, и меня уже будет не вытащить. Вчера я начал размышлять как бы в ответ тебе, зачем я делаю столько записей – очень просто: сохранить события жизни, приобщить их к вечности. Которую я вижу благодаря тебе, делю с тобой; вижу так же просто, как дождь за окном. Смысл вечности – в радости; радости, которая переполняет, потому что иначе простая идея – о бесконечности пространства – может свести с ума; но божественная радость устроит так, что не будет не только предполагаемого ужаса о чем-то превосходящем понимание; будет, наоборот, все-все очень отчетливо и полно; око того не видело и ухо не слышало, что приготовил бог любящим его; но что же он приготовил? – Если разобратся, Богу от меня лично нужно то же, что мне от тебя. Богу нужно общение со мной, но Он не может навязать его мне. «Се, стою у двери и стучу». Очень много раз я... нет, я не отталкивал Бога, я просто не обращал на Него внимания, ну, не нужен он мне. Ты можешь один раз написать о прекрасном чувстве, я тоже могу один раз проникнуться божественным светом и обо всем этом забыть. Но что же мы будем делать в вечности с Богом? чем заниматься? Иного выхода, чем радость, я не вижу. И аналогом этой радости является для меня день в монастыре с тобой. Радость переполняла меня. Все было лишено какой-то сверхъестественной мистики, все было очень знакомо – какие-то хозяйственные работы, знакомое окружение, церковная среда... Но мне стоило некоторых усилий сдерживать свой восторг; причина – постоянное твое присутствие, твоя физическая досягаемость. Но что испытывала ты от моей радости?! Только утомление и недовольство от того, что не можешь ответить тем же, не можешь разделить ее?! Я не думаю... В тебе есть эта сдержанность, эта чудесная дисциплинированность духа, когда человек не бросается в какую-то крайность, а остается «в сознании», он способен все воспринимать спокойно; и ты, не чувствуя, может, того, что чувствовал я, относясь по-другому и к поездке, и к происходящему, ты, тем не менее, была максимально внимательна, ты не упустила ничего из того, что могло бы предназначаться тебе; в это «нелегкое» время, во время, когда очень многие «расслаблены» интернетом (не хочу говорить – «развращены») и, как следствие, очень неотзывчивы, закрыты, «виртуальны», замкнуты – из-за этого как бы и не чувствуешь себя «человеком», общаясь с другими людьми; увидеть такую чуткость с чьей-

то стороны – с твоей – это большая награда, большое откровение уму, который пока не перестал еще что-то искать.

## Глава XIV

Сегодня на работе в начале четвертого раздался звонок. Зазвенел мой телефон. Цифры – незнакомые, по-моему, три, пять, девять в конце; да, три – пять —девять (я проверил телефон). Думая, что, может, это звонят с наконец-то открывающихся курсов экскурсоводов, я «снял трубку» – проведя пальцем по поверхности. «Алло», и небольшая, совсем незначительная пауза. «Это Николай». Сразу – представился. И сразу, как бы нехотя, я понял, кто это. Почему – нехотя?! Я бы предпочел, чтобы звонили с курсов. Другая сторона этого «нехотя» – то, что меня как бы застигли врасплох. Я плохо помню разговор, но в то же время помню его отлично. «Это Николай, Машин...» – как же он сказал? «парень»... но я уже подхватил эту фразу: «Да-да, я знаю, с кем я говорю...» Дальше было что-то о чувстве. «Я почитал ваши записи в контакте...» Ага, в контакте... Я быстро представил себе, какие записи; вернее, сколько там, на... Машинной странице (паузу я сделал, потому что хотел написать – «на твоей»), и в качестве комментариев к фотографиям; сколько на моей. Вопрос свелся к следующему: действительно ли чувство настолько сильно, насколько это явствует из написанных текстов? И тут я почувствовал легкий холодок... Ведь мы представляем собой последовательность различных состояний. В этот момент я почувствовал нечто вроде «заплати по счетам»; я почувствовал ответственность за то, что мне приписывается и – желание уйти от ответственности. Сказать, что «ничего не было». Чтоб не впутываться в дальнейшую «историю». Наверное, это какая-то генетическая память, причем очень может быть, что и советская, социальная память – страх перед «разоблачением», перед «прилюдным осмеянием», «выведением на чистую воду» – все это пронеслось очень быстро; как уже сказано, я был застигнут врасплох; но голос был не «мстительный», не «угрожающий» – скорее, в какой-то степени любопытствующий – и, как потом я определил эту интонацию – довольно педантичный. В этом голосе не было, насколько я могу судить, особого волнения – было «законное» право человека, считающего «своим долгом», что ли, позвонить и узнать, какого черта на странице его девушки... нет-нет, конечно, это все моя проекция; и в ответ на какой-то вопрос об этих записях он сказал что-то вроде: да нет, пишите; я не против... или: не вижу в этом ничего плохого... Возвращаясь к вопросу – действительно ли так велико чувство, как это видно из написанного? – Я сказал: ну вот, вы сами определили степень, размерность. Если из написанного видно, что велико – значит, так оно и есть. Где-то посреди разговора был вопрос в лоб – (или мне так хочется, чтобы он повторился, этот вопрос): – Как же все-таки велико чувство-то?! – И тут я сказал, что – да! велико... до хорошей такой верхней планки, очень сильно, и – «я не стал бы говорить традиционными словами о любви, влюбленности, я просто сталкиваюсь со своим опытом и пытаюсь выбраться из него, а то, что делаю, пишу – это своего рода терапия». – А когда вы последний раз общались с М. и общаетесь ли теперь? – спросил он. « – Ага!» – подумал я. А вслух – я рассказал, что М. написала мне сообщение – большое, крупное и содержательное – после которого я («как честный человек» – это уже самоирония пошла) не счел себя вправе каким-то образом дальше проявлять внимание. Она написала, что уже год встречается с человеком, которого любит. (Возвращаясь опять к диалогу – потом я подумал, откуда телефон мой? А, ну да, в контакте... оба моих телефона. Это к вопросу о чувстве долга и сознании правоты: три было звонка на один номер, и один звонок – на другой; в течение трех минут. Это похоже на то, как если бы довольно-таки настойчиво звонить в дверь.) Похоже, это и было то, что его интересовало – существование, или наоборот – неких «отношений». Разговор на этом закончился: до свидания – до свидания; в конце разговора я успел изъяснить желание встретиться – то есть, просто предложить прийти ему, или вместе с М. – в Ливадию – пообщаться; сделал я это еще и потому, – и в основном, – что и представлял себе такой вариант; и мне в каком-то смысле хотелось именно познакомиться, «литератор» во мне как бы говорил – тебе надо узнать того, кто ей нравится; в общем-то,

по голосу я и узнал. (Но по правде – хотелось увидеть по той же причине, по какой мне приятно и трепетно видеть, например, С.В. в церкви; причина проста – «отраженный свет». Тот, кто общался с тобой недавно, кто может себе позволить такую милость, несет на себе и в себе свет от тебя). Прошло какое-то время после разговора... еще – я не мог позволить себе говорить «привычно», находясь среди других людей. Прошло время – я хотел позвонить в ответ. Потом оставил это на вечер. Этим своим звонком Н., с моей точки зрения – поведенческой, нестабильной – выговорил себе преимущество; хотя, может, ни к чему такому не стремился. Он просто позвонил узнать, «насколько велико чувство» и – «в каких отношениях...»; и – не волновался; я же, когда вечером вышел «на волю» из огромного восемнадцатизэтажного здания, напоминающего гигантские шахматные часы для блицтурниров – и позвонил – я волновался. Но на этот раз я имел «преимущество инициативы». – А кто это? – Илья. Я очень рад, что вы позвонили (днем); я вообще имел намерение познакомиться... Если это не покажется странным, обременительным, если вас это не затруднит, не могли бы вы... передать Маше привет, я мог бы написать сообщение... но это – не то... а в контакт она не выходит...» Когда я представлял себе (перед произнесением) этот (второй) диалог, я – как сейчас понимаю – говорил с самим собой. Я сам себя подхватывал и поддерживал. В реальности же показалось, что слова мои «уходят» куда-то в пышную поверхность ковра; как будто я говорю в пустоте... Но потом последовало согласие: да, передам... и я еще раз предложил встретиться; даже назвал какое-то время, но – «не навязываюсь, в общем, решение за вами». После этого звонка мне стало легко снова; снова эйфория, к которой – я уже знаю – надо относиться с подозрением. Легко мне стало еще днём – спустя час или два после звонка Н.; и еще потому хорошо – и здесь я никак не лукавлю – по той же причине, по которой мне приятно и волнительно видеть в церкви С.В., твою тетю. Мне приятно ее видеть, потому что она – живая и осязаемая связь с тобой («отраженный свет»; я редактировал этот текст и вставил про отраженный свет чуть раньше; а сейчас наткнулся неожиданно на почти то же самое, но написанное вчера); вот, она стоит – а день или два назад она разговаривала с тобой; а теперь отблеск того света озаряет меня... Правда, я так это вижу... И Н., он сегодня разговаривал с тобой – и еще будет, наверное, говорить; и мне несколько не обременительно будет, скажем, познакомиться с ним очно, потому что я буду думать о нем как о звене этой невидимой хрустальной гирлянды, дотронувшись до которой словом и взглядом, можно различить ее колебания, оканчивающиеся рядом с твоей планетой – украшением наряженного к празднику радости древа жизни.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.